

должно будетъ уступить свое мѣсто новымъ взглядамъ школы Поля Мари и другихъ критиковъ его, и потому изслѣдователь психологіи рѣчи можетъ, по моему мнѣнію, не вдаваясь въ вопросъ о фізіологическихъ причинахъ афазіи, но, руководясь установленнымъ ученіемъ объ этой послѣдней, ограничиться изложеніемъ тѣхъ особенностей психической жизни человѣка, которыя являются послѣдствіемъ или выраженіемъ различныхъ формъ афазіи. *Афазія*, какъ показываетъ этимологія этого слова (*a*-отрицаніе при греч. *φωνή*—говору), означаетъ собственно *неговореніе*, какъ извѣстное, болѣзненное явленіе. Причины его могутъ заключаться въ разрушеніи какъ самыхъ центровъ рѣчи, такъ и путей между ними или отъ нихъ къ центрамъ слуха и центрамъ мышцъ рѣчи. Въ однихъ случаяхъ сохраняется способность понимать слова при утратѣ способности произвольной рѣчи (двигательная афазія), въ другихъ, напротивъ, больной утрачиваетъ пониманіе чужой рѣчи, способность повторять чужія слова, но не лишенъ дара произвольной рѣчи (чувствительная афазія), въ третьихъ разрушается путь между слуховымъ и двигательнымъ центрами, и возникаетъ „проводниковая“ афазія, утрачивается способность повторять слышимыя слова ¹⁾. Разумѣется, при этомъ наименьшая потеря интеллекту наносится двигательной афазіей, такъ какъ при ней сохраняется связь больного съ внѣшнимъ міромъ,—тогда какъ въ чувствительной (сенсорной) афазіи больной перестаетъ понимать слова и словесные символы. Это—„словесная глухота“, которая неминуемо разрушаетъ элементы внутренней рѣчи, не находящіе для себя подкрѣпленія въ слухѣ. Однако, по утверженію Кусмауля, и въ моторной афазіи интеллектъ почти всегда испытываетъ ослабленіе. Правда, это ослабленіе онъ не связываетъ непосредственно съ афазіей, но сводитъ оба эти пораженія къ общей причинѣ, которой служитъ извѣстное заболѣваніе мозга; тѣмъ не менѣе, вызывается психологически этотъ упадокъ интеллекта тѣмъ, что больной остается какъ бы въ одиночномъ заключеніи, самъ съ собой. При „словесной слѣпотѣ“, или чувствительной афазіи, связь съ міромъ становится еще болѣе слабой, потому что все, что идетъ оттуда въ видѣ высказанныхъ словъ, для человѣка не существуетъ.

Изъ книги д-ра Бернхейма, посвященной моторной афазіи („*De l'aphasie motrice*“ . 1900), я приведу примѣръ, который самъ онъ считаетъ типическимъ. Больная, 27-лѣтняя женщина, захворала три года тому назадъ, подвергшись параличу правой стороны съ афазіей. Черезъ три дня послѣ родовъ она потеряла сознаніе; черезъ шесть недѣль послѣ удара больная стала ходить, но въ продолженіе четырехъ мѣсяцевъ она не могла произнести ни одного слова, кромѣ какого-то непонятнаго и безсмыслен-

¹⁾ Схема афазій приведена въ книгѣ Штерринга „Психопатологія въ примѣненіи къ психологіи“ Спб. 1903, въ книгѣ С. Поля о внутренней рѣчи (см. гл. 3) и др.

наго *conson*. При поступленіи въ клинику параличъ еще оставался, афазія поправлялась. Произвольная рѣчь еще оставалась затрудненной, и больной приходилось подолгу искать слово прежде, чѣмъ произнести его. Но даже трудныя и длинныя слова, которыя произносили передъ ней, она оказывалась въ состояніи повторять, читать же вслухъ оказывалось почти не подъ силу больной, которая прочитывала только обыкновенныя слова. Потеря двигательныхъ образовъ распространилась и на пѣніе: ни мелодія, ни слова пѣни не сохранились въ памяти пациентки. И чтеніе про себя сдѣлалось неправильнымъ: больная прочла по буквамъ на кубикахъ слова *mer, ciel*, но вмѣсто *pain* прочла *Paris* и вмѣсто *soif-soleil*. Способность письма также пострадала, при чемъ больная могла писать только лѣвой рукой: она написала правильно и самостоятельно свое имя и лѣта, но длинную продиктованную ей фразу исказила. Болѣзнь отразилась также на счетѣ: пациентка написала подъ диктовку число 15,108, но почти совсѣмъ не могла складывать, а при умноженіи 3×4 получила въ произведеніи 10.

Спустя годъ, въ продолженіе котораго больная оставалась въ клиникѣ, она сдѣлала нѣкоторые успѣхи въ письмѣ. Она могла написать произвольно извѣстное число словъ и именъ, но все еще была не въ состояніи написать фразу или письмо. Чтеніе оставалось по прежнему неправильнымъ; больная не могла понять фразу, читать газету или книгу. Даръ слова еще не возвратился вполне. Больная съ трудомъ складывала фразы, подолгу искала слова. При возбужденіи всѣ эти недостатки обострялись. Черезъ два съ половиною года произвольная рѣчь возстановилась настолько, что пациентка уже могла, правда, короткими, отрывочными фразами рассказывать о своей жизни; трудныя слова ей все еще не удавалось повторять правильно, но болѣе легкія она могла повторять, при чемъ дѣлила ихъ на слоги. Однако, произнести на память какую-нибудь изъ извѣстнѣйшихъ басенъ Лафонтена, которую больная когда-то знала наизусть, она оказывалась не въ состояніи, точно также не могла пропѣть какую-нибудь мелодію изъ тѣхъ, которыя пѣла раньше. Слова марсельезы она прервала на первыхъ строчкахъ и объяснила: „я хорошо знаю слова, но языкъ не можетъ сказать“. Докторъ, желая провѣрить ее, произнесъ: „Allons, enfants de la Patrie, le jour de terreur est arrivé“. „Больная поправляетъ: „ce n'est pas terreur, c'est jour de gloire“. Читатъ вслухъ ей трудно: она дѣлаетъ это медленно и съ ошибками.

Для прочтенія коротенькой фразы въ двѣ строки потребовалось четверть часа. Больная останавливается послѣ каждого слога и не исправляетъ ошибокъ, которыя дѣлаетъ при чтеніи. „Я знаю, что это не такъ, но я не могу сказать“. При называніи буквъ и чтеніи цифръ точно также ошибки чередуются съ правильными отвѣтами. По словамъ д-ра Бернхейма, больная „не можетъ вспомнить звукъ, который образуется сочета-

ніемъ буквъ“. Все, что ей читаютъ, она понимаетъ безъ колебанія. Длинные фразы понимаются ею со всѣми подробностями. „Она произвольно вызываетъ въ своей памяти слуховые образы словъ, но съ чрезвычайной медленностью. Чтобы, называя предметы, припомнить какое-нибудь слово, ей приходится иногда употреблять много усилій, но она никогда не ошибается“. Однако, цифровыя вычисленія не удаются; больная утверждаетъ, что она не можетъ считать. „Интеллектъ ея немного ослабленъ, но все же совершенно достаточенъ для того, чтобы позволять больной хорошо понимать и правильно отвѣчать“. Изъ всѣхъ способностей наиболѣе поражена память.

Слѣдующее изслѣдованіе, которое произведено было восемь мѣсяцевъ спустя, дало такіе результаты. Больная оказалась въ состояніи давать правильные и длинные отвѣты на вопросы, довольно правильно повторяла слова, но попрежнему не помнила ни одной басни, ни одной молитвы, не могла пропѣть никакой мелодіи, ни со словами, ни безъ словъ. На просьбу произнести слова Марсельезы, она отвѣчаетъ: „Allons, enfants de la Patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard est arrivé“. Чтеніе вслухъ оказывается уже болѣе удачнымъ, чѣмъ раньше, хотя все еще далеко не свободно отъ ошибокъ, но теперь больная сохраняетъ на нѣкоторое время память о прочитанномъ и вполне понимаетъ его. Точно также она понимаетъ и отдѣльные слова, при чемъ надъ нѣкоторыми изъ нихъ задумывается. Иногда она старается угадать послѣдній слогъ и впадаетъ въ ошибки (вмѣсто *paradis* читаетъ *paraplui*, вмѣсто *caramel-carafon* и т. д.), но всякій разъ замѣчаетъ свою ошибку и старается исправить ее, что ей не всегда удается. „Она произвольно вызываетъ въ своей памяти первый слогъ, съ большимъ трудомъ послѣдній слогъ слова, соответствующаго указываемому предмету. Но это вызываніе совершается медленно и съ трудомъ, и вообще оказывается возможнымъ только въ самыхъ обыкновенныхъ словахъ“. Арифметическія дѣйствія производятся уже лучше прежняго: сложеніе и вычитаніе хорошо, умноженіе и дѣленіе ошибочно. Вычисленія въ умѣ дѣлаются сплошь неправильно. Состояніе интеллекта характеризуется д-ромъ Бернхеймомъ такъ: „Интеллектъ пораженъ мало; память, несомнѣнно, уменьшена, но не въ значительныхъ размѣрахъ. Возбудимость меньше, чѣмъ нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ. Вниманіе утомляется не такъ скоро. Мимика сохранилась“. На этомъ заканчиваются протоколы изслѣдованія, которые для психологіи рѣчи представляютъ значительный интересъ своей послѣдовательностью. Больная, какъ мы видимъ изъ нихъ, утратила память о двигательныхъ представленіяхъ словъ, которая возстановлялась чрезвычайно медленно. Что дѣло идетъ именно о *памяти* образовъ, видно какъ изъ общаго пораженія памяти у больной, такъ и изъ ея собственныхъ заявленій, что она чувствуетъ неправильность своего произношенія, но не

можетъ сказать правильно. И при повтореніи словъ видно то же поражение памяти; образъ слова, произнесеннаго передъ ней, передавался двигательному центру рѣчи слишкомъ смутно. Въмѣсто *constitutionnel* больная произносила „*constitu... te... te... не могу... constitusonnel... вотъ*“, въмѣсто *Камчатка* уже въ одно изъ послѣднихъ изслѣдованій она сказала *камчат...* Общее ослабленіе памяти отразилось особенно явственно на отвлеченномъ мышленіи: простѣйшія ариметическія дѣйствія стали недоступны больной, и только два элементарнѣйшія изъ нихъ, сложеніе и вычитаніе, потомъ до извѣстной степени возстановились. Понять чужую рѣчь больная могла, но передать ее оказывалась не въ состояніи: отсюда съ одной стороны пониманіе прочитаннаго, съ другой невозможность произнести молитву, басню, даже слова народнаго гимна, запомнившіяся въ самомъ раннемъ дѣтствѣ. Не видно, однако, чтобы за предѣлами этого упадка памяти, выражающагося въ забвеніи отвлеченныхъ символовъ (словъ и цифръ и ихъ комбинацій), духовная жизнь больной потерпѣла сильное нарушеніе. Это—„недостатокъ двигательныхъ представленій, т. е. неспособность произнесенія словъ при сохранности сферы движенія и чувствительности“, какъ опредѣляетъ моторную афазію академикъ Бехтеревъ (цит. у Аствацатурова, стр. 94). Для больного оказывается невозможнымъ „сочетать слоги и отдѣльныя буквы въ опредѣленномъ порядкѣ, необходимомъ для произнесенія слова, что требуетъ уже воспроизведенія полнаго двигательнаго представленія даннаго слова“. Въ концѣ концовъ это неминуемо приводитъ къ болѣе серьезному поврежденію интеллекта, потому что больной продолжаетъ мыслить словами, но онъ обреченъ на постепенную утрату двигательныхъ представленій словъ внутренней рѣчи; и образы внутреннихъ словъ должны у него постепенно блѣднѣть, потому что мускульное ощущеніе ихъ произнесенія исчезаетъ изъ его памяти. Больной можетъ сознавать, что онъ говоритъ *какъ-то не такъ*, какъ нужно, но, если болѣзнь не излѣчивается (какъ это было въ приведенномъ случаѣ), то это сознаніе неправильности исчезаетъ, двигательные образы словъ совершенно пропадаютъ, и наступаетъ нѣмота. Обычно, конечно, моторная афазія наступаетъ сразу вслѣдствіе пораженія центра внѣшней рѣчи. Приведенная же мною схема имѣетъ въ виду психологическое значеніе моторной афазіи. „Понятія, въ общемъ, все-таки оказываются нѣсколько пораженными“ и у моторнаго афатика¹⁾. Такимъ образомъ, для развитія человѣческаго мышленія (понятій, числовыхъ отношеній и т. п.) необходима способность *говорить*, произносить слова, обладать ихъ двигательными представленіями.

Чувствительная (сенсорная) афазія вызываетъ болѣе тяжкія пораженія сознанія, такъ какъ она заключается въ „словесной глухотѣ“. Стра-

¹⁾ С. r. Monakow. Gehirnpathologie. 1897, стр. 553.

дающіе ея, по выраженію Кусмауля ¹⁾, оказываются въ положеніи людей, сразу перенесенныхъ въ среду народа, который пользуется тѣми же самыми звуками, но другими словами, и эти послѣдніе представляются ихъ слуху какимъ-то непонятнымъ шумомъ. Они пробуютъ даже говорить на этомъ языкѣ, который они когда-то, можетъ быть, знали въ дѣтствѣ, но который потомъ они почти совершенно позабыли. Однако, они не могутъ найти подходящихъ словъ, а тѣ, которыя они подыскиваютъ, оказываются искаженными и неправильными. Вотъ примѣръ чувствительной афазіи, приведенный Кусмаулемъ. „Молодая женщина 25 лѣтъ была поражена черезъ десять дней послѣ родовъ внезапной потерей сознанія. Когда это послѣднее возстановилось, она не находилась въ параличѣ, но подверглась афазіи и парафазіи (постоянному искаженію и смѣшенію словъ). Она съ трудомъ подыскивала слова, не находила ихъ, искажала и смѣшивала, говорила *масло* вмѣсто *докторъ* (Butter-Doktor), откидывала слоги и буквы, замѣняла ихъ другими, употребляла неопредѣленное наклоненіе вмѣсто нужнаго ей наклоненія и спрягала неправильные глаголы, какъ правильные. Сначала на нее смотрѣли, какъ на глухую, потому что въ началѣ болѣзни она не понимала ни одного слова. Вскорѣ, однако, замѣтили, что она различаетъ стукъ двери и тиканіе часовъ такъ же хорошо, какъ здоровые люди, что она отличаетъ по звуку одинъ колоколъ отъ другого. Зато, по ея собственному позднѣйшему разсказу, слова представлялись ей какимъ-то глухимъ шумомъ. Она слышала только нѣсколько гласныхъ и повторяла ихъ. Если односложное слово произносили обычнымъ образомъ, она не понимала; если же его произносили буква за буквой, то она повторяла слова. Въ многосложныхъ словахъ слѣдовало сначала произнести ясно одинъ слогъ, затѣмъ другой, потомъ два вмѣстѣ, и лишь тогда она могла разобрать все слово. Тоже самое было и съ чтеніемъ. Она съ большимъ вниманіемъ разсматривала слова, затѣмъ старалась произнести ихъ отдѣльно, потомъ вмѣстѣ. Излѣченіе шло медленно. Только по истеченіи шести мѣсяцевъ она стала понимать короткія фразы, и то ихъ слѣдовало произносить медленно и ясно. И все-таки, въ концѣ концовъ, въ ея рѣчи осталось что-то тяжелое“. Вопросу объ отношеніи между пониманіемъ словъ и ихъ повтореніемъ въ 1907 году посвятилъ нѣсколько интересныхъ наблюденій извѣстный изслѣдователь афазіи, К. Хейльброннеръ ²⁾. Этотъ вопросъ, конечно, имѣетъ особый интересъ и для рѣшенія вопроса о происхожденіи человѣческаго языка, такъ какъ повтореніе чужихъ словъ явилось однимъ изъ источниковъ взаимнаго пониманія и сознанія рѣчи. По даннымъ,

¹⁾ Пользуюсь французскимъ переводомъ этого классическаго сочиненія. „Les troubles de la parole“. 1884, стр. 227.

²⁾ К. Heilbronner. Zur Symptomatologie der Aphasie. Arch. f. Psych. u. Nerven krankheiten. m. 43. 1907.

приведеннымъ Хейльброннеромъ въ его статьѣ, „повтореніе чужихъ словъ (Nachsprechen) у больной было съ самаго начала наиболѣе сильно поражено, и это нарушеніе осталось всего долѣе наиболѣе ярко выраженнымъ“. При этомъ оказывалось, что больная повторяла слово, „какъ выраженіе *представленія*, возбужденнаго предшествующимъ разговоромъ (Vorsprechen)“; она нападала иногда на нужное слово въ результатъ извѣстныхъ ассоціативныхъ процессовъ (auch associativem Umwegen). Это не было повтореніе простого звукового сочетанія, но сознательное пониманіе: единственное число при повтореніи замѣнялось множественнымъ, слово принимало уменьшительную форму, снабжалось прибавками (Gott—der liebe Gott), такъ что „реакція получала эгоцентрическій характеръ“; автоматическое повтореніе, по мнѣнію автора, не привело бы къ положительному результату даже при послѣднемъ изслѣдованіи психическаго состоянія больной, когда оно уже значительно улучшилось. И даже такія ошибки, какъ отвѣтъ на слово *лампа* (вотъ она виситъ), указываютъ на стремленіе пациентки повторять слова по содержанію, а не по комплексу звуковъ. Вслѣдствіе этого слова, не обладающія значеніемъ, возбуждающимъ живыя ассоціаціи (напр. числа), вызывали особенно много ошибокъ при повтореніи. Плохіе результаты дало также повтореніе коротенькихъ фразъ. Изслѣдованіе другого сенсорнаго афатика, старика 66 лѣтъ, приводитъ инымъ путемъ къ тому же самому выводу о потерѣ значенія словъ при сенсорной афазіи. Онъ повторялъ чужія слова не по разумѣнію, но такъ, какъ слышалъ ихъ, и вотъ результаты оказались довольно печальны: кое-какъ еще удавалось повтореніе односложныхъ словъ, но уже двусложныя оказывались для него недоступны. Знакомыя имена повторялись легче.

Д-ръ Аствацатуровъ приводитъ изъ своихъ наблюденій примѣръ сенсорнаго афатика, который могъ совершать сложныя дѣйствія, хотя не понималъ словъ. Больной подвергся сильному ушибу, послѣ котораго лишился чувствъ. „Когда же пришелъ въ себя, то оказалось, что онъ совершенно не понимаетъ обращаемыхъ къ нему словъ, а самъ, при попыткахъ сказать что-нибудь, сильно извращаетъ слова. Въ клиникѣ больной обнаруживалъ абсолютную глухоту къ словамъ; обращаемыя къ нему слова онъ слышалъ, но совершенно не понималъ ихъ смысла; равнымъ образомъ, онъ могъ отличать стукъ, звонъ, свистъ, крикъ, музыку, пѣніе и т. под. Что касается собственной рѣчи больного, то она представлялась мало понятной въ виду сильнаго извращенія произносимыхъ словъ. Чтеніе и письмо были также разстроены, но въ незначительной степени. За все время пребыванія въ клиникѣ (около 8 мѣсяцевъ) больной ни разу не подалъ повода къ переводу его въ психіатрическое отдѣленіе, никакихъ признаковъ слабоумія обнаружено у него не было. Наоборотъ, онъ давалъ письменно вполне толковыя объясненія по поводу своего состоянія и относился къ нему вполне критически. Ко времени выписки изъ клиники

состояніе больного нѣсколько улучшилось: онъ могъ произносить короткія фразы, прекрасно понималъ читаемое и могъ излагать свои мысли письменно; что касается сенсорной функціи рѣчи, то она совершенно не возстановилась, и больной, по прежнему, не понималъ ни одного изъ обрацаемыхъ къ нему словъ; несмотря на это, онъ по выпискѣ изъ клиники принялся за прежнюю свою дѣятельность—живопись; каждое лѣто онъ отправлялся одинъ на окраины Россіи писать этюды, которые зимою продавалъ, чѣмъ и добывалъ себѣ средства къ существованію“. Черезъ 8 лѣтъ больного постигъ новый ударъ, и его душевное состояніе настолько измѣнилось, что его пришлось помѣстить въ психіатрическое отдѣленіе.

Какимъ образомъ происходила психическая жизнь этого больного, который былъ лишенъ сенсорныхъ представленій словъ и слѣдовательно слуховой внутренней рѣчи, необходимой для контроля за произносимыми словами? Эта жизнь должна была имѣть такія же формы, какъ у глухонѣмыхъ, съ тою только разницей, что отъ своего прежняго опыта больной унаслѣдовалъ способность писать. По профессіи художникъ, онъ долженъ былъ обладать развитой зрительной памятью, которая помогла ему выработать у себя зрительную внутреннюю рѣчь, зрительные образы словъ. „Во время своихъ поѣздокъ, рассказываетъ д-ръ Аствацатуровъ, больной объяснялся съ окружающими при помощи записокъ, благодаря чему его принимали за глухонѣмого. Хотя онъ и могъ произносить короткія фразы, однако предпочиталъ объясняться письменно“. При полной потерѣ слуховыхъ представленій слова (какъ у глухонѣмыхъ), больной художникъ, какъ оказывается, все-таки могъ произносить слова и фразы: подъ конецъ своего пребыванія въ клиникѣ, гдѣ онъ оставался 8 мѣсяцевъ, онъ былъ въ состояніи „произносить короткія фразы“. Какъ же онъ контролировалъ правильность своего произношенія? Несомнѣнно, такъ же, какъ глухонѣмые, т. е. при помощи мускульнаго ощущенія, указывающаго на отклоненіе отъ нормы.

Разсмотрѣнныя двѣ основныя формы афазіи, двигательная и чувствительная или слуховая, представляютъ лишь два наиболѣе типичныхъ разстройства функціи рѣчи. Однако, слѣдуетъ упомянуть о той формѣ (транскортинальной) афазіи, которая происходитъ отъ разрушенія сочетательной связи между центрами. Какъ описываетъ это состояніе акад. Бехтеревъ („Основы ученія о функціяхъ мозга“. 1907, стр. 1489), „Больной, несмотря на то, что воспринимаетъ слышанное, не можетъ его понять. Во всякомъ случаѣ, это явленіе не зависитъ отъ того, что больной утрачиваетъ отпечатки прошлыхъ звуковыхъ образовъ и лишается этимъ самымъ ихъ запаса. Отпечатки прошлыхъ звуковъ, образовъ, навѣрное, даже остаются, такъ какъ больной можетъ иногда писать подъ диктовку и повторить сказанное. Вообще, остается въ цѣлости почти весь запасъ звуковъ отпечатковъ и ихъ дальнѣйшихъ сочетаній; въ силу чего больной отлично знаетъ,

что только что произнесенное передъ нимъ слово и повторенное имъ самимъ ему знакомо; онъ знаетъ, что это слово онъ слышалъ и произносилъ неоднократно, и въ то же время онъ самъ удивляется тому, что это слово ему непонятно, ничего ему не говоритъ, такъ какъ оно теперь не связывается съ соотвѣтствующимъ ему конкретнымъ впечатлѣмъ. Оно, такимъ образомъ, является простымъ звукомъ, а не символомъ, возбуждающимъ образъ того или другого предмета. Въ этихъ случаяхъ больной слышитъ и повторяетъ слова, но не можетъ ихъ понять, хотя самъ больной можетъ еще говорить, вслѣдствіе сохраненія связи центровъ конкретныхъ представлений съ двигательнымъ центромъ рѣчи. Это суть состоянія, извѣстныя подъ названіемъ транскортикальной чувственной афазіи“. Углубляясь въ подробности относительно формъ и происхожденія афатическихъ расстройствъ здѣсь, конечно, не мѣсто. Поэтому, минуя эти вопросы, представляющіе область спеціального психіатрическаго изслѣдованія, я остановлюсь на той формѣ афазіи, которая представляетъ живой интересъ и для психологіи рѣчи. Это *амнестическая* афазія, потеря всѣхъ, вообще, словесныхъ представлений или лишь нѣкоторыхъ изъ нихъ. Амнестическая афазія является однимъ изъ видовъ амнезіи, которая характеризуется, какъ „утрата способности къ воспроизведенію представлений“ (Штеррингъ. 109). Поскольку это пораженіе распространяется только на словесныя представленія, амнезія превращается въ афазію. Въ частыхъ случаяхъ амнестической афазіи, по словамъ акад. Бехтерева (тамъ же. стр. 1314), „больные слышатъ и понимаютъ чужую рѣчь, могутъ повторять за другими всѣ рѣшительно слова и понимаютъ даже ихъ значеніе, могутъ читать и писать, но они забываютъ названія предметовъ, и потому рѣчь ихъ лишена существительныхъ, а сами они не въ состояніи назвать окружающихъ предметовъ ни при какихъ условіяхъ“. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ наступаютъ состоянія омраченія сознанія, такъ что душевная жизнь нарушается въ гораздо большей степени, чѣмъ въ разсмотрѣнныхъ выше случаяхъ афазіи. Такъ, въ клинической картинѣ такого афатика, представленной въ сочиненіи д-ра Аствацатурова и относящейся къ больному мальчику 16 лѣтъ, мы находимъ слѣдующія подробности: „Самъ больной ни на что не жалуется и, вообще, ничего не высказываетъ. На обращаемые къ нему вопросы не даетъ соотвѣтствующихъ отвѣтовъ. Выраженіе лица тупое, бессмысленное; изрѣдка смѣется. Въ общемъ мало подвиженъ, по временамъ дѣлаетъ такія движенія пальцами, какъ будто разыскиваетъ какіе-то мелкіе предметы. Настроеніе духа безразличное или благодушное. Судя по словамъ и поступкамъ больного, теченіе идей у него крайне замедлено; количество представлений крайне скудно и однообразно, способность реагированія на процессы внѣшняго міра понижена почти до полного отсутствія. Въ окружающей обстановкѣ, повидимому, не ориентированъ; сознаніе собственной личности сохранено. Способность къ *логиче-*

скимъ операціямъ, повидимому, вполне утрачена. Инициативная осмысленная рѣчь у больного отсутствуетъ совершенно: онъ не заявляетъ никакихъ требованій, ни о чемъ самъ не заговариваетъ, ничего не высказываетъ. Иногда подолгу повторяетъ одно и то же слово, послѣ его произнесенія кѣмъ-либо изъ окружающихъ. Называть показываемые ему предметы не въ состояніи. Если назвать ему показываемый предметъ, то онъ эхололически ¹⁾ повторяетъ его названіе; если послѣ этого начать показывать ему другіе предметы, прося ихъ назвать, то больной безсмысленно продолжаетъ повторять названіе перваго предмета. *Пониманіе* рѣчи также отсутствовало. При этомъ оказывается, что больной можетъ произнести необходимое въ этомъ случаѣ слово: такъ, если послѣ вопроса о его фамиліи, на который онъ не даетъ соответствующаго отвѣта, произнести при немъ его фамилію, то онъ ее повторяетъ. Вотъ самыя существенныя черты изъ клинической картины, изложенной изслѣдователемъ. Резюмируетъ онъ ее, какъ утрату пониманія словъ и осмысленной продукціи словъ, при сохраненіи способности слышать слова и произносить ихъ; какъ комбинацію извѣстныхъ формъ чувствительной и двигательной афазіи. „Больной сохранилъ способность оживленія и фиксированія словесныхъ звуковыхъ слѣдовъ, но совершенно утратилъ способность пользованія этими звуками, какъ символами“. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ амнезія распространяется на говореніе, но не касается пониманія словъ. Кусмауль рассказываетъ о больномъ портномъ, который послѣ операціи въ ногѣ подвергся параличу правой стороны. Мало-по-малу, онъ прошелъ, не оставивъ никакихъ слѣдовъ на лицѣ или въ движеніяхъ языка. „Больной потерялъ способность находить слова при сохраненіи артикуляціи. Онъ правильно произносилъ все буквы азбуки, за исключеніемъ ипсилона, который онъ называлъ ипсѣ. Но произвольно, самостоятельно произносить алфавитъ онъ не былъ въ состояніи: вмѣсто того, чтобы говорить буквы, онъ принимался считать и сразу останавливался, когда замѣчалъ свою ошибку; иногда же онъ начиналъ съ особенной поспѣшностью и произносилъ подрядъ шесть или восемь буквъ, потомъ онъ замолкалъ или выговаривалъ рядъ буквъ, которыя уже были или еще не были имъ названы. Онъ могъ также воспроизводить, повторяя ихъ за говорящимъ, слоги или слова въ два-три слога; однако онъ произносилъ *bobe* вмѣсто *bebo*; за предѣлы трехъ слоговъ онъ выйти не могъ. Вмѣсто Constantinopel онъ говорилъ Stozati, Stozate, Stozatalsch. Когда его просили произносить слогъ за слогомъ и при этомъ внимательно смотрѣть на ротъ собесѣдника, онъ добирался до Constanti, но дальше не могъ. Онъ считалъ то до 12, то до 16, потомъ начиналась путаница, которую онъ иногда замѣчалъ, и которая въ другой

¹⁾ Эхололія—безсмысленное повтореніе услышаннаго слова, иногда лишь части его. Часто больные начинаютъ безконечно твердить схваченное слово, ритмически напѣвать его и т. д.

разъ ускользала отъ его вниманія. Онъ смогъ найти и произнести свое имя только при второмъ опытѣ; лишь только послѣ нѣсколькихъ попытокъ и съ помощью другого онъ смогъ произнести названіе своего мѣсторожденія Buchheim. На вопросъ: „Въ какомъ кантонѣ находится это мѣсто“, онъ отвѣтилъ „здѣсь“. (Это было правильно, такъ какъ Buchheim находится въ кантонѣ Фрейбургъ, въ клиникѣ котораго производилось изслѣдованіе больного). Когда его просили назвать главный городъ кантона, онъ заявилъ, что знаетъ его, но никакъ не могъ назвать. Тогда ему подсказываютъ: Фрейбургъ, онъ повторяетъ; „feig-burg-burg-frei-fro“. Такой же результатъ при вопросѣ о странѣ, въ которой лежитъ Фрейбургъ. Увѣренность, что онъ это знаетъ, и невозможность вспомнить имя. Когда его просятъ внимательно смотрѣть на ротъ говорящаго, онъ наконецъ произноситъ Фрейбургъ“. Потеря словесныхъ представленій обнаруживается въ томъ, что больной оказывается не въ состояніи называть такіе обыкновенные предметы, какъ ложка, вилка. Его пробуютъ научить этимъ словамъ, и это иногда удается, иногда нѣтъ: такъ, вмѣсто Gabel онъ произноситъ Gasser, вмѣсто Löffel—Plofe. Когда же больной хочетъ говорить самостоятельно, онъ оказывается не въ состояніи находить слова. Онъ довольствуется тѣмъ, что жестами обозначаетъ то, что хотѣлъ сказать. Впрочемъ, въ запасѣ у него еще остается нѣсколько словъ и фразъ, которыя онъ и пускаетъ въ ходъ то и дѣло. Это междометія: *oje, o weh, mein Gott, Maria Josef, das ist zu arg, ja freilich*, иногда *sacrament*. Людей онъ называетъ общимъ мѣстоименіемъ *Sie*, на вопросы отвѣчаетъ постоянно *da* или *niem* или „zu viel, zu arg, nicht so arg“. Въ жизни палаты больной принималъ самое живое участіе. Вскорѣ послѣ этого наступило ухудшеніе, начался бредъ; больной умеръ, и при вскрытіи въ его мозгу было обнаружено размягченіе.—Другой примѣръ, который Кусмауль приводитъ въ своемъ изслѣдованіи, обнаруживаетъ, что и правильно произносимыя слова у амнестического афатика не создаютъ рѣчи, такъ какъ нарушена связь между идеей и словомъ. Священникъ 16 лѣтъ страдалъ сильными головными болями и обнаруживалъ расстройства рѣчи, ради которыхъ обратился къ Кусмаулю. „Онъ поздоровался со мной, рассказываетъ этотъ послѣдній, довольно свободно, словами, произнесенными достаточно хорошо, и напомнилъ мнѣ о недавней встрѣчѣ въ Штутгартѣ. Но вскорѣ онъ сталъ запинаться на каждой фразѣ, едва достигалъ имени существительнаго; иногда же онъ вмѣсто одного существительнаго употреблялъ другое (парафазія). Если ему помогали, онъ доводилъ фразу до конца, если только его усилія не разбивались въ концѣ концовъ о какой-нибудь глаголь. При этомъ иногда казалось, что этотъ глаголь не попадался ему на языкъ только потому, что первая часть фразы ускользала изъ его памяти. Неспособность находить имена существительныя приводила его въ волненіе; онъ старался выразить ихъ съ помощью какого-нибудь описательнаго обо-

рота, и такъ впадалъ въ фразы, все болѣе и болѣе сбивчивыя, нить которыхъ онъ окончательно утеривалъ... Когда больного просили пожать руку, показать языкъ, закрыть глаза, онъ произносилъ нѣсколько одобрительныхъ словъ, но выполнялъ эти движенія только тогда, когда ему показывали ихъ одинъ или нѣсколько разъ. Онъ напоминалъ человѣка, которому отдають приказанія на иностранномъ, непонятномъ ему языкѣ, и которому приходится растолковывать приказанія жестами“. Болѣзнь также прогрессировала и закончилась смертью, послѣ которой при вскрытіи было найдено размягченіе мозга.—Потеря произвольной рѣчи иллюстрируется примѣромъ паралитика, который, лишившись движеній рукъ и ногъ, постепенно излѣчился отъ этихъ пораженій, но остался не въ состояніи говорить. „Онъ отчетливо произносилъ нѣсколько отдѣльныхъ словъ, которыя приходили ему въ голову, или которыя говорили передъ нимъ громко и медленно: въ противномъ же случаѣ его рѣчь представляла непонятное бормотаніе. Когда въ руки ему давали книгу или рукопись, онъ читалъ ее такъ легко и такъ отчетливо, что нельзя было замѣтить ни малѣйшей ошибки. Но, оставляя книгу, онъ сейчасъ же оказывался неспособенъ повторить уже прочитанныя слова“.

Такимъ образомъ, амнестическая афазія является нарушеніемъ связи между внѣшнимъ и внутреннимъ словомъ; только послѣднее оказывается символомъ, тогда какъ первое остается лишь комплексомъ звуковъ. Иногда это нарушение распространяется только на извѣстную группу словъ: то на имена существительныхъ, то на глаголы. „Изолированная утрата памяти именъ существительныхъ есть результатъ не полного разрушенія центра памяти словъ. При полномъ же его разстройствѣ должна произойти, естественно, совершенная утрата памяти словъ, т. е. полная неспособность произвольной рѣчи, несмотря на сохранность моторнаго центра“. (Аствацатуровъ 160). Эта форма афазіи, разобщая глаголы отъ именъ, указываетъ на психологическое различіе этихъ частей рѣчи, вообще на тѣ соотношенія, которыя создаются въ нашемъ сознаніи только словами. При амнестической афазіи теряется синтаксисъ, склоненіе и спряженіе, но, вѣроятно, это присиходитъ лишь съ тѣми больными, которые говорятъ на нашихъ сложныхъ флектирующихъ языкахъ. При всѣхъ тѣхъ формахъ афазіи, о которыхъ рѣчь была выше, исчезаетъ наиболѣе рѣзко способность счисленія, какъ, вѣроятно, послѣдняя изъ приобрѣтенныхъ человѣкомъ способностей, возможная лишь при развитіи мышленія только словами (такъ какъ числа являются только названіями или только зрительными образами въ случаѣ ихъ написанія; конкретный же образъ не связывается, напр., съ 998 такъ же, какъ съ 567 или 999); при потерѣ способности мыслить словами, какъ символами, утрачивается та или другая категорія частей рѣчи: очевидно, различіе между глаголомъ и именемъ является уже позднѣйшимъ приобрѣтеніемъ человѣческой мысли. Но сохра-

няющаяся въ случаяхъ амнестической афазіи способность учиться произношенію по губамъ другого говорящаго, т. е. создавать въ своемъ сознаніи моторные образы словъ, относится, несомнѣнно, къ глубокой древности человѣческой рѣчи, и она, какъ мы видѣли, восстанавливается при утратѣ раньше другихъ утерянныхъ способностей рѣчи или же удерживается при ихъ потерѣ. Точно также производитъ впечатлѣніе большой старины страсть амнестического афатика (да и всякаго изъ насъ въ состояніи нормальной быстро проходящей афазіи) прибѣгать вмѣсто называнія предмета къ его описанію. Больному показываютъ *тетрадь*, онъ отвѣчаетъ: „это, какъ называется, пишемъ отсюда“, показываютъ *спички*; онъ говоритъ: *такъ* (дѣлаетъ движеніе рукой, соотвѣтствующее зажиганію спичекъ) и т. под. На тѣсную связь между *словомъ* и образомъ предмета указываетъ, такъ называемая, еще не вполне выясненная *оптическая афазія*. Она объясняется, по указанію В. М. Бехтерева, „нарушеніемъ связи между обоими центрами зрѣнія и центромъ словесныхъ слуховыхъ образовъ, тогда какъ связь между осязательными и мышечными центрами и центромъ словесныхъ слуховыхъ образовъ остается сохраненной“.

Ученіе объ оптической афазіи было установлено только въ 1889 г. извѣстнымъ психіатромъ Фреундомъ, который видѣлъ въ ней разрушеніе проводника между оптическимъ и рѣчевымъ двигательнымъ центрами. Болѣзнь заключается, какъ полагалъ этотъ ученый, въ невозможности назвать предметъ, который больной только видитъ, но не осязаетъ. Быть можетъ, расстройство здѣсь болѣе глубоко или заключается просто въ ослабленіи зрѣнія. Но, во всякомъ случаѣ, для психологіи рѣчи эта форма болѣзни представляетъ выдающійся интересъ, такъ какъ именно здѣсь выступаетъ очень ярко связь между образомъ предмета и его называніемъ. И въ этомъ случаѣ, какъ во многихъ другихъ, душевное расстройство обособляетъ рѣзко ту или другую функцію нормальной психической дѣятельности и ставитъ ее въ положеніе, благопріятное для спеціальнаго изученія.¹⁾ Вотъ случай, приведенный Фреундомъ. Больной Шлюквердеръ потерялъ способность называть многіе предметы при видѣ ихъ. Но, если ему при закрытыхъ глазахъ вкладывали ихъ въ руки, онъ сейчасъ же правильно произносилъ ихъ названія: монета, пробка и т. под. Очевидно, осязательныя представленія, связанные съ этими предметами, были настолько живы, что сознаніе сейчасъ же воспринимало ихъ при соприкосновеніи. Въ другихъ же случаяхъ осязательное воспріятіе, связанное со зрительнымъ, позволяло найти названіе предмета: надо было взять его въ руки, чтобы правильно назвать. Съ нѣкоторыми предметами у насъ, дѣйствительно,

¹⁾ C. S. Freund. Ueber optische Aphasie und Seelenblindheit. Archiv für Psychiatrie. Bd. 20. 1889. G. Wolff. Klinische und Kritische Beiträge zur Lehre von den Sprachstörungen 1904. „Случай Фойта“ подробно изложенъ Штеррингомъ.

связаны прежде всего осязательныя представленія: таковы, напр., пробка, бархатъ, кусокъ металла, воронка, спичечная коробка, мыло, облатка и т. п. Больной, страдавшій пораженіемъ зрѣнія, сталъ обнаруживать афатическія разстройства. „Пониманіе рѣчи и способность говорить не пострадали. Нарушеніе рѣчевой функціи у него заключается въ томъ, что для отдѣльныхъ предметовъ, окружающихъ его, больной не находитъ самостоятельно звукового образа (т. е. слова), хотя прекрасно знаетъ, къ чему служить предметъ, и т. под. Для называнія такихъ предметовъ онъ прибѣгаетъ къ описаніямъ или замѣчаніямъ, въ родѣ того, что „можно его и такъ назвать, (такъ онъ поступалъ, когда передъ нимъ произносили правильное названіе предмета), но у него есть и другое названіе“. Ему показываютъ красную таблетку, и онъ отвѣчаетъ: „Какъ же мнѣ его назвать, это новый цвѣтъ, это [противный] цвѣтъ“. Дни, недѣли, числа, названія мѣсяцевъ онъ называетъ хорошо и правильно. Короткія слова онъ читаетъ иногда правильно, иногда ошибочно. Изъ многосложныхъ словъ онъ читаетъ правильно, по большей части, первый слогъ; вмѣсто другихъ онъ приводитъ сочиненныя имъ самимъ окончанія: такъ, вмѣсто *Hamburg* онъ произноситъ *Hammelingen*. Написанное, особенно свое собственное имя онъ можетъ прочесть, тогда какъ болѣе сложныя написанныя слова отъ него ускользаютъ“. Настоящій случай, собственно, не относится къ оптической афазіи, но онъ интересенъ тѣмъ, что обнаруживаетъ, какъ необходима для правильности рѣчи, для правильного называнія предметовъ способность удерживать въ своей памяти зрительныя впечатлѣнія предметовъ. А отвѣты больного („но у него есть и другое названіе“) указываютъ на то, что даже при называніи видимаго предмета онъ еще не убѣждался въ его правильности: настолько неясны сдѣлались для него образы предметовъ. Но, быть можетъ, какъ въ этомъ, такъ и въ другихъ случаяхъ подобнаго рода, мы видимъ не „оптическую афазію“ (самое существованіе которой сомнительно), но гораздо болѣе глубокое разстройство, „душевную слѣпоту“, которая заключается въ потерѣ способности узнавать предметы съ помощью зрѣнія. „Воспроизведеніе въ памяти зрительныхъ ощущеній возможно (при оптической афазіи) только въ случаѣ воздѣйствія другихъ представленій“ (Штеррингъ 63). Такъ, больному показываютъ различные предметы, нѣкоторые изъ нихъ онъ называетъ послѣ колебанія, другіе можетъ назвать лишь тогда, когда оцѣпываетъ ихъ. Въ нѣкоторыхъ же, болѣе рѣзкихъ случаяхъ названіе совсѣмъ не приходитъ ему въ голову, и приходится прибѣгать къ описаніямъ: вмѣсто „термометръ“ — „это для погоды“, вмѣсто „шприцъ“ — „это хирургическій инструментъ“. Наконецъ, въ иныхъ случаяхъ больной отговаривается просто незнаніемъ предмета, при чемъ здѣсь, повидимому, на сцену выступаетъ психическая слѣпота, такъ какъ предметъ (штопоръ) очень обыченъ (Wolff 39). Другой больной не былъ въ состояніи назвать ни одинъ изъ указываемыхъ ему предметовъ, все на-

зывалъ однимъ словомъ: „Готтебъ“ (послѣ волненія онъ сразу потерять рѣчь), но вопросы понималъ и кивкомъ головы обнаруживаетъ пониманіе предлагаемыхъ ему вопросовъ. Повторять слова за другими онъ былъ не въ состояніи, даже собственное свое имя. Разумѣется, въ данномъ случаѣ дѣло идетъ вовсе не объ оптической афазіи; по наблюденіямъ лѣчившихъ его врачей, больной до такой степени утратилъ способность распознавать предметы по зрѣнію, что казался слѣпымъ. На самомъ же дѣлѣ это была психическая слѣпота. Случай, описанный въ 1890 году д-ромъ Мели, даетъ нѣсколько любопытныхъ подробностей. Больной при видѣ *ложки* сказалъ: „Ну, это у меня каждый день въ рукахъ“; при видѣ бритвы онъ провелъ съ недовольнымъ видомъ пальцемъ по щекѣ; не могъ онъ также назвать по имени газовую лампу и щетку. „Особенно же сильно было разрушено названіе цвѣтовъ“. Когда заиграли на скрипкѣ, которую передъ тѣмъ онъ не могъ узнать, пользуясь зрѣніемъ, онъ радостно воскликнулъ: „скрипка“. На основаніи осязанія, онъ правильно назвалъ и игральныя кости, и шаръ и т. п.; обоняніе и вкусъ также сохранились и помогали больному находить имена предметовъ.—Въ этомъ случаѣ ослабленная способность вызывать въ сознаніи ясное представленіе о вещахъ съ помощью зрѣнія до извѣстной степени возмѣщалась живостью представленій, связанныхъ съ другими воспріятіями. Но въ состояніяхъ *асимболии* ¹⁾ разумѣется предметы получаютъ самыя различныя названія. Получается *переносъ значенія*, нѣчто въ родѣ *метафоры*. Больному даютъ ключъ, онъ называетъ его селедкой (Wolff 47); ножъ онъ называетъ ключомъ и т. д. Почему? Несомнѣнно, не случайно, но потому, что между этими предметами есть какое-то сходство (длинный и узкій предметъ), обуславливающее смѣшеніе названій.

На основаніи анализа важнѣйшихъ данныхъ, извѣстныхъ о такъ наз. „оптической афазіи“, Вольфъ приходитъ къ отрицанію самаго существованія этой послѣдней и высказываетъ убѣжденіе, что „всѣ воспріятія (Sinneswahrnehmungen) для того, чтобы вызвать въ памяти слово (das Wort auszulösen), должны вызвать прежде всего *оптическое представленіе*, которое одно только и оказывается въ состояніи возбудить акустическое или моторное представленіе слова“. Для вопроса о происхожденіи человѣческаго языка этотъ выводъ имѣетъ, конечно, извѣстное значеніе: оказывается, что зрительныя представленія играютъ особенно выдающуюся роль въ называніи предметовъ. Однако, не только они играютъ эту роль.

¹⁾ „Когда дѣло идетъ о прерываніи всѣхъ вообще связей между центрами конкретныхъ образовъ и центрами рѣчи, наступаетъ полная *асимболия*, когда слова, утрачивая свое значеніе, произносятся безъ всякаго смысла въ видѣ простого безсодержательнаго набора“. В. М. Бехтеревъ. Основы ученія о функціяхъ мозга. 1907, стр. 1494.

Есть не мало предметовъ, представленіе о которыхъ связано прежде всего съ осязательными воспріятіями. По справедливому указанію Вольфа (стр. 66), мыло, ножъ и т. п. вызываютъ въ нашемъ сознаніи прежде всего осязательныя представленія. Такимъ образомъ, не звуки природы, но впечатлѣнія зрительныя и осязательныя прежде всего вызываютъ у насъ потребность называть вещи *своими* именами. „Оптическая афазія, какъ и другія афазіи отдѣльныхъ чувствъ, оказывается только частнымъ выраженіемъ общаго ослабленія способности называть предметы“, говоритъ д-ръ Вольфъ. Слово перестаетъ *значить* для больного, какъ символъ. Больная, правильно повторяющая за докторомъ слово *ключъ*, на вопросъ, гдѣ ключъ, беретъ этотъ предметъ, но откладываетъ его въ сторону, очевидно, не связывая зрительнаго и осязательнаго воспріятій его съ названіемъ. Другая правильно назвала наперстокъ, но не могла найти его среди другихъ предметовъ ¹⁾. Особенно поучителенъ для изслѣдователя возникновенія значенія словъ широко извѣстный въ психіатріи „случай Фойта“. Онъ изложенъ обстоятельно въ названной выше книгѣ Штерринга, и потому я ограничусь самыми существенными чертами. Молодой человѣкъ, Фойтъ, упавъ съ лѣстницы, получилъ переломъ черепа, почти оглохъ на правое ухо, почти ослѣпъ на оба глаза. Вмѣстѣ съ тѣмъ у него обнаружилась неспособность называть предметы. По словамъ перваго описавшаго этотъ случай наблюдателя, больной тотчасъ же узнавалъ всѣ предметы, которые зналъ раньше, но не былъ въ состояніи называть ихъ. Онъ прибѣгалъ къ обычнымъ въ такихъ случаяхъ описаніямъ („это то, чѣмъ дѣлають такъ“, говорилъ онъ при видѣ ножа, изображая рукой дѣйствіе рѣзанія); ни созерцаніе, ни оцупываніе ножа не возстановляли въ его памяти названія этого предмета. Эти же самыя названія онъ понималъ, однако, при разговорѣ вполне правильно и умѣлъ отмѣтить ихъ среди другихъ; однако ни глаголы, ни имена прилагательныя не удавалось ему называть самостоятельно. Память *на символы* у него была настолько ослаблена, что онъ не могъ прочитать слово буква за буквой, если остальные буквы, кромѣ той, которую онъ произносилъ, были закрыты. Но эта память возстановлялась, когда больной могъ дать волю своимъ *моторнымъ представленіямъ* слова, которыя, очевидно, сохранились при ослабленіи зрительнаго мышленія и вмѣстѣ съ тѣмъ развитіи „оптической афазіи“. Если передъ Фойтомъ находился образъ того предмета, который ему слѣдовало назвать, то, взглядываясь въ него и медленно выводилъ буквой за буквой, онъ могъ написать требуемое названіе. Получалось совершенно такое же явленіе, какъ у слѣпоглухонѣмыхъ, которые создавали себѣ моторно графическую внутреннюю рѣчь, подлежащую въ дальнѣйшемъ нашему изученію. Черезъ

¹⁾ Эти примѣры приведены А. Пикомъ въ его статьѣ „Neue Beiträge zur Pathologie der Sprache“. Arch. fur Psych. B. 28. 1896, ср. мою статью о внутренней рѣчи, стр. 59.

нѣсколько лѣтъ послѣ этого больной былъ подвергнутъ новому изученію. Къ этому времени онъ достигъ уже гораздо большаго совершенства въ развитіи своей двигательной внутренней рѣчи, чѣмъ въ первомъ случаѣ. Названія онъ находилъ съ помощью письма. При этомъ, „чтобы найти требуемое слово, онъ обыкновенно тайкомъ производилъ движенія письма руками и ногами. Если руки и ноги ему удерживали, онъ производилъ соответственные движенія языкомъ. Если же ему не только удерживали руки и ноги, но и заставляли высунуть языкъ, то онъ не въ состояніи былъ найти слово, обозначающее данный предметъ“. Но, какъ категорически утверждаетъ изслѣдовавшій Фойта врачъ, этому написанію *не предшествовали* ни письменный, ни звуковой образъ названія. Въ сознаніи больного это послѣднее возникало, стало быть, лишь *при написаніи*, какъ въ нормальной внутренней рѣчи слово возникаетъ при его внутреннемъ произношеніи или воспроизведеніи внутреннимъ слухомъ. Такимъ образомъ, мы имѣемъ здѣсь дѣло не съ ассоціаціей двигательныхъ ощущеній съ соответственными образами словъ, какъ полагаетъ Штеррингъ, а съ настоящей двигательной графической рѣчью, которая съ помощью этихъ движеній создавала слово. Такъ, съ помощью жестовъ создается слово въ условной рѣчи зрячихъ глухонѣмыхъ. Разумѣется, наличность хотя бы такой формы внутренней рѣчи, какая создавалась у Фойта, допускаетъ возможность символовъ, необходимыхъ для возникновенія понятій. Поэтому, не представляется удивительнымъ, что на вопросъ, можно ли назвать два предмета общимъ именемъ, Фойтъ легко находилъ отвѣтъ, когда ему не мѣшали написать слово, какъ названіе болѣе общаго понятія, обозначающаго оба предмета. „Если же движенія его задерживали, то онъ не въ состояніи былъ найти подходящаго слова. Его просили обозначить motionem или кивкомъ головы, знаетъ ли онъ внутренне требуемое слово. *Постоянно получали отрицательный отвѣтъ*“. Иного, конечно, нельзя было и ожидать, разъ слово *создавалось* у Фойта только при написаніи его, чему предшествовало, какъ у нормальныхъ людей, при словесно двигательной внутренней рѣчи, смутное сознаніе существованія такого слова. Нѣсколько лѣтъ спустя, тотъ же больной былъ изученъ Г. Вольфомъ, авторомъ книги объ оптической афазіи, изъ которой я привелъ въ предшествующемъ изложеніи рядъ данныхъ. Вольфъ констатировалъ, что больной не можетъ называть качества предметовъ, воспринимаемыя органами чувствъ, если не имѣетъ для этого достаточно сильнаго возбужденія во внѣшнемъ мірѣ, но легко справляется съ названіями *отвлеченныхъ качествъ*.

Такъ, чтобы сказать, что деревья зелены, кровь красна, онъ долженъ былъ увидѣть зеленые деревья и красную кровь. Важно, что у этого больного съ такой слабой способностью воспринимать впечатлѣнія внѣшняго міра ассоціація между предметомъ и словомъ устанавливалась все-таки

съ помощью зрѣнія. Такъ, онъ не могъ припомнить названіе часовъ, когда слышалъ ихъ тиканье, но, если онъ вытаскивалъ ихъ изъ кармана и видѣлъ, то съ помощью написанія онъ называлъ ихъ правильно. И вообще, какъ констатируетъ послѣдній наблюдатель Фойта, Вольфъ, предметы, которые больной воспринималъ съ помощью зрѣнія, онъ обыкновенно называлъ правильно; и наоборотъ: по большей части, онъ не находилъ названій предметовъ, которые онъ воспринималъ съ помощью другихъ чувствъ. Такимъ образомъ, въ созданіи словъ, какъ символовъ, первое мѣсто принадлежало зрѣнію. Это положеніе, устанавливаемое психіатріей, настолько важно и для нормальной психологіи, что я посвящу ему здѣсь же нѣсколько строкъ. На IV конгрессѣ экспериментальной психологіи въ Инсбрукѣ (въ апрѣлѣ 1910 г.) О. Липманъ прочелъ рефератъ о зрительныхъ типахъ ¹⁾. По словамъ этого ученаго, онъ задался цѣлью разрѣшить вопросъ, какимъ образомъ люди относятся къ разнообразнымъ, разнообразнымъ по величинѣ и формѣ впечатлѣніямъ обыденной жизни, т. е. какъ они воспринимаютъ предметы съ помощью зрѣнія. „Аудитивномоторному типу, говоритъ Липманъ, мы не должны противопоставлять *единный* зрительный типъ; напротивъ, мы должны различать нѣсколько зрительныхъ типовъ, отличающихся одинъ отъ другого исключительнымъ или лучшимъ воспріятіемъ разныхъ оптическихъ качествъ, тона цвѣта, насыщенности, яркости, величины, положенія“. Одни замѣчаютъ прежде всего цвѣта, другіе—форму предмета, третьи—тѣ группы, которыя образуются нѣсколькими сходными предметами, и это преимущественное замѣчаніе тѣхъ или другихъ оптическихъ особенностей оказывается, по мнѣнію изслѣдователя, не случайнымъ, но типическимъ для каждаго отдѣльнаго лица. Продолжая этотъ выводъ дальше, придется сказать, что такіе зрительные типы могутъ имѣть преобладаніе въ извѣстной средѣ и отразиться на самомъ называніи предметовъ тѣмъ или другимъ словомъ. Даже мимолетное зрительное впечатлѣніе оставляетъ свой слѣдъ и содѣйствуетъ воспроизведенію образа при повтореніи его. Опыты Виганда съ чтеніемъ словъ на разныхъ разстояніяхъ и при различной быстротѣ передвиженія буквъ ²⁾ указываютъ на то, съ какой силой залегаетъ въ нашей памяти зрительный образъ ³⁾.

¹⁾ О. Lippman. Visuelle Auffassungstypen. Bericht über den IV^e Kongress für experimentelle Psychologie. Leipzig. 1911.

²⁾ С. F. Wiegand. Untersuchungen über die Bedeutung der Gestaltqualität für die Erkennung von Wörtern. Zeitschrift für Psychologie. Bd. 48 (1908), стр. 231. Интересна по заглавію, но весьма мало даетъ по существу статья Decroly et Degand. Expériences de mémoire visuelle verbale et de mémoire des images, chez les enfants normaux et anormaux. L'Année psychologique. 1907.

³⁾ Въ полномъ противорѣчій съ этимъ стоятъ утвержденія Дежерина, что зрительные образы предметовъ возникаютъ у насъ позже слухо-

Приведенныя выше разстройства рѣчи, тѣ формы афазіи, которыя разрушаютъ внутреннюю рѣчь или ея связи съ внѣшней рѣчью, съ органами слуха или говоренія, не исчерпываютъ собой разстройствъ, которыя наблюдаются въ области языка въ ненормальныхъ состояніяхъ. И въ нормальной жизни мы вдругъ забываемъ слово, оговариваемся въ произношеніи, обнаруживаемъ явленія „оптической афазіи“ и т. п., но эти скоропроходящія состоянія вызываются нарушеніемъ единства и ясности сознанія вслѣдствіе волненія, усталости и другихъ причинъ, не вызывающихъ болѣе глубокихъ разстройствъ нашего интеллекта. Но машинальное повтореніе чужихъ словъ превращается въ болѣзненное состояніи въ *эхолалию*, вмѣсто обмолвки получается *парафазія* и т. д. На этихъ явленіяхъ необходимо остановиться, такъ какъ именно эти болѣзненные уклоненія подчеркиваютъ нормальное. Подъ парафазіей, говоритъ Кусмауль, мы понимаемъ такое разстройство рѣчи, при которомъ представленія уже не соотвѣтствуютъ словеснымъ образамъ, такъ что на мѣсто соотвѣствующихъ смыслу словъ появляются слова съ противоположнымъ значеніемъ, или совсѣмъ странныя и не понятныя. Это не бормотаніе или лепетъ, объясняющіеся моторной афазіей, но воспроизведеніе вмѣсто желаемыхъ словесныхъ образовъ другихъ. Вмѣсто *Butter* (масло) больной произноситъ *Mutter* (мать), вмѣсто *Doktor-Butter*, вмѣсто *Trinkgeschirr-Nachtgeschirr* и т. п. Не всегда, однако, парафазія представляетъ слова, сходныя съ требовавшимися; она можетъ принимать различныя формы, вырождаясь иногда въ простой наборъ бессмысленныхъ словъ или звуковыхъ комплексовъ, при чемъ больной думаетъ, что говоритъ совершенно правильно и логически развиваетъ свою мысль. Происходитъ это отъ отсутствія контроля за собственной рѣчью, отсутствія, которое объясняется извѣстными разстройствами въ сознаніи или слишкомъ быстрой смѣной представленій и т. под. *Эхолалия* есть бессмысленное повтореніе услышанныхъ чужихъ словъ, *вербигерация* повтореніе одной и той же собственной мысли, происходящее, по указанію д-ра Аствацатурова ¹⁾, вслѣдствіе рѣзкаго суженія круга представленій, отражающагося на рѣчи больного. „Выйти изъ этого ограниченного круга представленій онъ не можетъ, новымъ представленіямъ въ его психикѣ нѣтъ мѣста. Въ этомъ

выхъ, и т. п. Изъ этого факта, что „начало распада интеллекта характеризуется распадомъ, утратой зрительныхъ представленій при сохранности слуховыхъ“ (В. В. Селецкій. „Диссоціація представленій и ея значеніе“. Журналъ невропатологіи и психіатріи имени С. С. Корсакова. 1908, кн. 1. стр. 41),—дѣлать подобный выводъ мнѣ представляется невозможнымъ. Мы имѣемъ дѣло именно съ *диссоціаціей*, съ перерывомъ проводниковъ между различными центрами и отраженіемъ этой диссоціаціи въ психической жизни человѣка.

¹⁾ О вербигерации. (Обозрѣніе психіатріи, неврологіи и экспериментальной психологіи. 1906, ноябрь).

особенно наглядно можно убѣдиться, если попросить больного что-нибудь прочесть. Читать онъ, въ сущности, можетъ и прочитываетъ правильно даже длинныя и трудныя для произношенія слова, напр. Гельсингфорсъ, Биржевыя, крестьянскій банкъ и т. п. Но такъ какъ въ его психикѣ прочитываемыя слова не вызываютъ никакого представленія, а сохранившіяся въ немъ отрывочныя представленія, быть можетъ, уже въ силу своей малочисленности имѣютъ особенную интенсивность, то больной, прочтя одно или два слова, говоритъ свои обычныя фразы: *Манюша придетъ*, или же, показывая на сапоги, говоритъ: *зелененькія*. Этими двумя фразами ограничивается запасъ его заветныхъ мыслей: „Зелененькія, скончалась, куда пошелъ, солнце тутъ, Манюша, теперь куда пошелъ, солнце тутъ, куда пошелъ, куда пошелъ“ и т. д.

Такъ, разстройства рѣчи тѣсно связаны съ разстройствами психики. Общительность, перейдя за нормальныя предѣлы, превращается въ страсть высказываться, *ейфазію*; неясное представленіе объ отношеніяхъ между явленіями принимаетъ въ рѣчи душевно больного характеръ *аграматизма*, въ которомъ отсутствуютъ грамматическія формы нашей нормальной рѣчи. И только ясное сознаніе создаетъ ясную рѣчь со словами, передающими впечатлѣнія жизни.

(Литература къ этой главѣ приведена въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ. См. также учебники по психіатріи Корсакова, Щербака и др. Очень обстоятельно изложены различныя формы болѣзни рѣчи въ книгѣ Леруа. *Le langage*. 1905).

Г Л А В А V.

Разстройства рѣчи при истеріи, слабоуміи и душевныхъ болѣзняхъ.

Послѣ того, какъ въ предшествующей главѣ были рассмотрѣны главныя разстройства рѣчевой функціи человѣка, въ этой главѣ я намѣренъ остановиться на тѣхъ особенностяхъ, которыя принимаетъ рѣчь при нарушеніяхъ нормальной психической жизни человѣка. Здѣсь идетъ рѣчь не о поврежденіи рѣчевыхъ центровъ или проводниковъ отъ нихъ къ периферіи, но о такихъ явленіяхъ, которыя сводятся къ патологическимъ сознаніямъ, о такихъ формахъ, которыя сопровождаютъ душевныя заболѣванія. „При извѣстной степени двигательнаго возбужденія, говоритъ проф. Корсаковъ въ своемъ „Курсѣ психіатріи“: рѣчь перемѣняется въ своемъ темпѣ, дѣлается быстра, словообильна, плавна; больной сыплетъ приемами, созвучіями, поговорками и говоритъ стихами. При большей степени возбужденія мы видимъ, что въ разговорѣ мысль не доканчивается, фраза обрывается на половинѣ, постоянно мѣняется тема рѣчи, рассказъ прерывается пѣніемъ, побочными вопросами, обращеніями. При еще боль-

шей степени возбужденія рѣчь теряетъ смыслъ, представляется простымъ наборомъ фразъ, въ которыя вставляются безъ всякой надобности поговорки и бессмысленныя, постоянно повторяющіяся присловія, дальше разстраивается правильность образованія фразы, являются синтаксическія и этимологическія ошибки; затѣмъ, вмѣсто словъ являются обрывки словъ, наконецъ нечленораздѣльные звуки. Но темпъ рѣчи можетъ измѣниться и въ другую сторону; рѣчь можетъ становиться все медленнѣе и медленнѣе. Это бываетъ при меланхоліи и при другихъ болѣзняхъ съ подавленіемъ душевной дѣятельности. Смотря по степени подавленія, рѣчь дѣлается то болѣе, то менѣе медленной; сначала больной только молчаливъ; затѣмъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ больной говоритъ только вяло, въ другихъ еле-еле скажетъ слово. А бываетъ много случаевъ, когда молчаливость доходить до полного молчанія—*mutacismus* или *mutismus*“. Уже изъ этой схемы видно, какъ важно для пониманія глубокой связи между мыслью и языкомъ, сознаніемъ и рѣчью разсмотрѣть ту роль, какую играетъ языкъ въ различныхъ формахъ душевныхъ расстройствъ. Эта роль представляетъ опредѣленный симптомъ болѣзни, и записи рѣчи душевнобольныхъ, произведенныя стенографически двумя нѣмецкими врачами, предназначались для цѣлей практическихъ, служа матеріаломъ для распознаванія извѣстныхъ формъ психическихъ болѣзней ¹⁾.

Прежде, чѣмъ остановиться на характеристикѣ роли языка въ истеріи, слабоуміи, идиотизмѣ и душевныхъ болѣзняхъ, я приведу любопытный случай созданія собственнаго языка больной, истеричкой. Этотъ случай описанъ русскимъ врачомъ и наблюдался въ больницѣ Николая Чудотворца въ Петербургѣ. Женщина, бывшая предметомъ наблюденія, служила у переплетчика неподалеку отъ города. Хозяева ея нерѣдко отправлялись въ столицу и оставались тамъ ночевать, а ей дали для безопасности револьверъ и ножъ, ²⁾ что ее непріятно поразило. Черезъ нѣсколько дней, когда она оставалась одна, къ ней пришли въ гости римскій папа, митрополитъ Исидоръ и прусскій король Фридрихъ. Такъ начиналъ развиваться бредъ, который потомъ создалъ цѣлую сложную картину отношеній. Между прочимъ, одинъ изъ гостей превратился въ лягушку, которую больная, по приказанію короля Фридриха, разрѣзала на четыре части и съѣла. Это „убійство“ являлось единственной связью бреда съ реальной жизнью, въ которой больная также должна была бы совершить убійство изъ револьвера, если бы кто-нибудь забрался къ ней. Уже съ ранняго дѣтства больная страдала галлюцинаціями, которыя преслѣдовали ее повсюду, и во время работы, и въ церкви и принимали обыкновенно ска-

¹⁾ A. Liebman und M. Edel. Die sprache der Geisteskranken nach steno-graphischen Aufzeichnungen. Halle. 1903.

²⁾ Lydia Felicine-Gurwitsch. Ueber produktive Tätigkeit bei hysterischen Halluzination. Archiv für Psychiatrie. B. 48. 1911.

зочный характеръ. Во время одной изъ такихъ галлюцинацій передъ ней предсталъ юноша въ бѣлой одеждѣ съ золотымъ поясомъ и сказалъ ей: „учись“, а вслѣдъ за нимъ явился палачъ, который отрубилъ юношѣ голову. Не будучи въ состояніи противиться повелѣнію видѣннаго юноши, больная рѣшила учиться и поступила въ вечернюю школу для взрослыхъ, гдѣ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ научилась читать и писать. Какъ видно изъ біографіи больной, желаніе учиться было у нея уже въ дѣтствѣ, но жизнь не позволила ему осуществиться, и желаніе перешло, по выраженію г-жи Фелициной-Гурвичъ, въ подсознательную сферу.—Юноша продолжалъ навѣщать больную, являясь къ ней съ тетрадью, изъ чего она заключила, что должна научиться и писать, черезъ полтора мѣсяца она научилась правильно писать буквы. Тогда явился тотъ же юноша, держа тетрадь, въ которой были записаны какіе-то непонятные знаки; больная списала ихъ въ свою тетрадь и убѣдилась, что знаки представляютъ буквы неизвѣстнаго ей алфавита. Она въ скоромъ времени научилась читать и писать этой азбукой, и страсть къ писанію такъ обуяла ее, что ей пришлось оставить работу на фабрикѣ, чтобы имѣть больше досуга. Горы бумаги она изводила на свое писаніе и тщательно ихъ берегла отъ чужихъ и родныхъ. Она списывала изъ тетради мнимаго юноши рассказы, которые разъяснили ей смыслъ жизни, но содержаніе этихъ рассказовъ она не была въ состояніи передать врачамъ больницы. Самыя же тетради были уничтожены сыномъ во время пребыванія больной въ больницѣ Николая Чудотворца. Тамъ она также пробовала писать своей новой азбукой, занося на листы, повидимому, какія-то мистическія мысли. Попржнему ее навѣщаль юноша, и дѣло кончалось всегда тѣмъ же самымъ: появлялся палачъ, который отрубалъ юношѣ голову, а ей, самой,—если она не переставала писать,—пальцы. Эта бредовая борьба, по предположенію врачей, являлась психическимъ отраженіемъ непріятностей, которыя больной пришлось выносить отъ сына и родныхъ, издѣвавшихся надъ ея поступленіемъ въ школу и уничтожавшихъ ея писанія. Другія галлюцинаціи не имѣли прямого отношенія къ созданію больной собственнаго языка, и потому я не стану ихъ касаться.

Что же касается стремленія больной создать свой языкъ, то психологическая причина его та же, которая заставляетъ дѣтей школьнаго возраста прибѣгать съ наивною безпомощностью къ сочиненію *своего* языка посредствомъ перестановки или присоединенія нѣсколькихъ слоговъ; та же, — которая влагаетъ въ уста матери, баюкающей свое дитя, или въ нѣжныя изліянія влюбленныхъ, или въ пѣсни поэта оригинальныя, малоупотребительныя или только что ими самими сочиненныя слова. Это есть потребность, присущая человѣку съ древнѣйшихъ временъ созданія языка, — выражать содержаніе своей личной жизни съ помощью своихъ собственныхъ словъ. Кон-

троль внѣшняго міра не позволяетъ намъ заходить слишкомъ далеко въ этомъ отношеніи, и даже люди, которые, подчиняясь, по существу, тому же безсознательному влеченію, видятъ признаки какого-то высшаго своего призванія въ оригинальности и искусственности своей рѣчи, поэта декаданса, „футуристы“ и т. п.,—и тѣ остаются въ предѣлахъ „школы“, не будучи понимаемы посторонними, но другъ для друга понятные. И они не говорятъ каждый по своему, но вырабатываютъ въ лонѣ общаго всѣмъ имъ литературнаго языка свой собственный *діалектъ*, въ образованіи котораго, какъ и вообще въ образованіи діалекта, обнаруживается вліяніе извѣстной индивидуальности. Такъ говорятъ, что поэты создаютъ языкъ. Ниже мы увидимъ, какой могущественный факторъ въ созданіи языка представляетъ это личное вліяніе. Здѣсь же я отмѣчу только, съ какой настойчивостью пробивается у человѣка стремленіе создавать свой языкъ. Въ нормальной жизни оно также дѣйственно и могуче, но направляется общеніемъ съ людьми по извѣстному пути. Тамъ, гдѣ общеніе прекращается, или гдѣ намѣренно избѣгаютъ его, это стремленіе даетъ себѣ полную волю и приводитъ къ такимъ явленіямъ, какъ сочиненіе нелѣпныхъ собственныхъ словъ умалишенными или даже цѣлаго языка—истериками. Конечно, душевный міръ этихъ послѣднихъ отличается отъ нормальнаго, иногда представляя ограниченіе сознанія, иногда же особенное направленіе его, такъ что на созданіи языка не можетъ не лежать отпечатка нѣкакаго убожества и ненормальности. Такимъ образомъ, разсматриваемый случай, описанный петербургскимъ психіатромъ, представляетъ живой интересъ и для изслѣдователя отношеній между мыслью и рѣчью.

Сама г-жа Фелицина-Гурвичъ слѣдующимъ образомъ характеризуетъ тотъ психологическій фонъ, на которомъ созданъ „языкъ“ малограмотной и бѣдной истерички. „Она очень интенсивно стремится къ преобразованію своей жизни, хотя сначала пути къ этому представляются ей совершенно неясно. Такимъ руководящимъ перстомъ ей представляется сначала изученіе грамоты; возникаетъ стремленіе, которое находитъ поддержку на фабрикѣ въ общеніи и вліяніи другихъ работницъ. Ироническое отношеніе сына къ ея занятіямъ прищипориваетъ ее; какъ истеричка, она хочетъ непременно настоять на своемъ. Побужденіе падаетъ на плодородную почву; естественно, что у человѣка, который съ дѣтства подвергался галлюцинаціямъ, содержаніе галлюцинаціи находится подъ вліяніемъ новыхъ душевныхъ переживаній. Послѣднимъ душевнымъ переживаніемъ госпожи І. было изученіе русской азбуки; но это пріобрѣтеніе было связано для нея съ большимъ разочарованіемъ. (Оно не открыло ей никакихъ новыхъ путей жизни). Отсюда понятно, какъ ученіе превратилось для нея въ объектъ галлюцинаціи и приняло такую фантастическую форму. Однако, мы не хотимъ утверждать, что изученное содержаніе галлюцинаціи представляетъ единственный логически пріемлемый мотивъ; совер-

шенно такія же, мистическія по своему содержанію галлюцинаціи были бы понятны, логически разсуждая, и на русскомъ языкѣ. Но то, что мы отмѣтили здѣсь, представляетъ болѣе интенсивное стремленіе вырваться изъ рамокъ среды. Изученіе обыкновеннаго языка оказало ей мало помощи. Поэтому пришлось искать чего-нибудь новаго. Теперь ея мозгъ принимается работать надъ тѣмъ, чтобы превратить ничтожныя свѣдѣнія, которыми она обладаетъ, въ новое знаніе. Она мечтаетъ о какихъ-нибудь жизненныхъ правилахъ, которыя придуть къ ней на другомъ чудесномъ языкѣ, и изъ едва знакомой ей азбуки она конструируетъ новыя буквы, новыя слова. Она вѣритъ, что эти знаки откроютъ ей путь къ новой жизни. Такимъ образомъ происходилъ, вѣроятно, процессъ созданія новаго языка, при чемъ повсюду обнаруживается скудный запасъ знаній у больной; письмо ея отличается большой скудостью фантазіи, мы видимъ въ немъ только отдѣльныя слова и фразы. Тѣмъ не менѣе, больная чувствуетъ себя иначе, чѣмъ раньше; она видитъ въ своемъ поведеніи нѣчто высшее, что даетъ ей удовлетвореніе и спокойствіе. Такимъ образомъ, творческій актъ относится *не къ содержанію, но только къ средствамъ выраженія*. Въ особенности же ярко обнаруживается эта безконечно наивная вѣра въ значеніе средствъ выраженія, какъ орудія познанія, въ сочиненіи новыхъ словъ для собственныхъ именъ, что совершенно противорѣчитъ установившемуся обычаю. Быть можетъ, наше мнѣніе субъективно, но намъ представляется, что для русскаго уха собственные имена, сочиненныя г. I., звучатъ особенно пышно и торжественно¹⁾. Въ нашей попыткѣ объясненія намъ приходится сдѣлать еще одинъ шагъ дальше: казалось бы, если принять наше толкованіе галлюцинацій г-жи I., было бы достаточно пользоваться чуждыми звуками; для чего ей потребовалось сочинить еще собственный алфавитъ? Нерѣдко случается, что больные употребляютъ непонятныя слова, которыя для нихъ полны значенія. Но при этомъ они вовсе не нуждаются въ новыхъ письменныхъ знакахъ. Госпожа I., однако, ихъ создала, и притомъ въ такомъ же количествѣ и

¹⁾ Это т. наз. эмоціональная окраска словъ. Чтобы не возвращаться дальше къ этому предмету, я здѣсь же коснусь вопроса о такъ наз. эмоціональномъ значеніи словъ. Слова, употребляемые въ извѣстной исключительной обстановкѣ или въ примѣненіи только къ извѣстнымъ лицамъ, вызываютъ извѣстное исключительное настроеніе. Такъ, слово *десница*, означающее просто правую руку въ древнемъ славянскомъ языкѣ, получило особое эмоціональное значеніе въ русскомъ языкѣ, такъ какъ вошло въ него изъ языка богослуженія. На этомъ принципѣ было, какъ извѣстно, основано и ломоносовское дѣленіе „стилей“ на высокій, средній и подлый. По отношенію къ высокопоставленнымъ лицамъ употребляются нерѣдко иные термины, чѣмъ по отношенію къ другимъ людямъ (*прослѣдовать* вмѣсто *прогнать* и т. п.). Иное эмоціональное значеніе имѣютъ слова *жуиать* и *жсть*, а слово *жсрать* считается неприличнымъ, хотя въ звукахъ этого слова

съ тѣмъ же произношеніемъ, что и въ русской азбукѣ. Здѣсь обнаруживается извѣстный импульсивный актъ: она только что научилась читать; эта работа происходила медленно и тяжело, и, повидимому, именно этому обстоятельству она была обязана тѣмъ, что у нея укрѣпилась мысль, что пріобрѣтеніе новаго языка совпадаетъ существеннымъ образомъ съ изученіемъ новыхъ буквъ. Повышенному, чающему, мистическому настроенію г-жи І. не могло бы соответствовать, если бы юноша явился къ ней съ тетрадью, написанной русской азбукой“. *Новыя чувства — новый языкъ, новый языкъ — новая азбука*: такъ можно было бы резюмировать изложеніе г. Фелициной-Гурвичъ.

Самый языкъ больной представляетъ стремленіе сочинить совсѣмъ новый языкъ, новый словарь, но, какъ и дѣти, она не можетъ уйти и отъ заученныхъ образцовъ: *межа* = *чека*, *солнце* = *волме*, *рѣка* = *лира*, не говоря уже о *луна* = *лонъ*, *лугъ* = *гултъ* (изъ обратнаго чтенія *лугъ*), придерживаются тѣхъ же окончаній и звуковыхъ сочетаній. Другія слова связаны съ какими-то иными ассоціаціями: *поле* = *гамане*, *полоса* = *виша*, *облако* = *крутось*, *озеро* = *рудикъ*, *заря* = *говса* и т. д. созданы больно по какимъ-то инымъ ассоціаціямъ. Что касается собственныхъ именъ, то превращеніе въ нашемъ помѣщицьемъ быту Ивановъ въ Жаны и Прасковій въ Полинъ, страсть къ избраннымъ собственнымъ именамъ у романтиковъ или декантентовъ, психологически совершенное такое же явленіе, только не выходящее изъ сферы социальной необходимости взаимопониманія, какъ и сочиненныя г. І. для нея самой звучныя и громкія имена *Аргентъ* (Иванъ), *Арфотъ* (Егоръ), *Арфентъ* (Александръ), *Альсонтъ* (Михайлъ), *Альсанъ* (Дмитрій), *Альгартъ* (Гавріиль), *Дамисъ* (Федоръ), *Дарментъ* (Радіонъ), *Доргентъ* (Діомидъ). Быть можетъ, и здѣсь не обошлось безъ внѣшнихъ вліяній. *Дамисъ*, *Аргентъ* и др. больно смахиваютъ на мольеровскія имена. Петербургскій рабочій могъ увидѣть на сценѣ Народнаго дома комедію Мольера, могъ прочесть въ какомъ-нибудь „Пинкертонѣ“ подходящія имена и включить ихъ въ собственный словарь ¹⁾.

нѣтъ, конечно, ничего неприличнаго. Нѣкоторыя слова нравятся намъ именно своей экстраординарностью, „торжественностью“: таковы напр. *монументъ*, *саркофагъ* (греческое *саркоφάγος* — хищникъ, мясоѣдъ употреблялось о хищныхъ птицахъ или звѣряхъ) и т. п. Донъ-Кихотъ назвалъ своего коня Росинантомъ ради пышности этого названія; щедринская знакомая (см. „За рубежомъ“) очень обидѣлась, когда ее называли женщиной, а не дамой, а герой Горькаго, напротивъ, заявилъ, что слово *че-ло-вѣкъ* „звучитъ гордо“. Ср. В. Кутерманъ. Эмоціональный характеръ слова. Журн. Мин. Нар. Просв. 1909, январь. В. Bourdon. l'expression des émotions et des tendances dans le langage 1892. Zazarus. Xer Geist der sprache.

¹⁾ Припомните стих. Пушкина:

„Бывало, писывала кровью
Она въ альбомы нѣжныхъ дѣвъ,
Звала Полиною Прасковью

Мы видимъ, такимъ образомъ, какую роль приобрѣтаетъ языкъ въ творческихъ галлюцинаціяхъ истеріи. Слѣдующій примѣръ, который я заимствую изъ книги вѣнскихъ психіатровъ Брейера и Фрейда (*I. Breuer unds. Freud. Studien über Hysterie*), обнаруживаетъ, что для *особенныхъ* переживаній нуженъ и *особенный* языкъ. На этотъ разъ мы видимъ высоко интеллигентную больную, которая не прибѣгла къ сочиненію собственнаго языка, но перестала говорить на *родномъ*. Пользуясь методомъ распрашиваній, противъ котораго такъ справедливо высказались Бине и Симонъ (въ статьѣ объ истеріи въ *L'Année psychologie* 1910), вѣнскіе врачи добились того, что больная,—серьезная и хорошо образованная дѣвушка, горячо любившая своего отца и заболѣвшая тяжелой формой истеріи во время продолжительнаго ухода за нимъ и бодрствованій по ночамъ,—больная изложила всю исторію своей болѣзни въ загнипнотизированномъ состояніи. Въ нормальномъ же, какъ это обычно бываетъ у истериковъ, она не могла отдать себѣ отчетъ въ своихъ переживаніяхъ. Каждый вечеръ она начинала произносить нѣчто въ родѣ стихотвореній въ прозѣ (по-нѣмецки, хотя пробужденная, если и говорила, то дѣлала это заикаясь и только по-англійски), которыя напоминали доктору стиль Андерсена. Она излагала свои мысли и переживанія, при чемъ, рассказавъ о своихъ страхахъ, она отдѣлывалась отъ нихъ. Характерно, однако, что Анна О., лишившись способности говорить на своемъ родномъ языкѣ, сохранила эту способность по отношенію къ англійскому, на которомъ она и вела свою исповѣдь. Какъ это объяснить? Фрейдъ и Брейеръ даютъ объясненіе весьма простое и вмѣстѣ съ тѣмъ весьма неправдоподобное. По ихъ словамъ выходитъ, что необходимость для больной прибѣгать къ англійскому языку вызвана была слѣдующей *случайностью*. Однажды,

И говорила нараспѣвъ“, а потомъ
... стала звать
Акулькой прежнюю Селиму.

А вотъ наборъ именъ изъ итальянскаго „футуристическаго“ стихотворенія:

Antonietta Solare,
Aurora del Sole,
Giuseppina Solamore,
Alba Qaggi,
Isola Meriggi,
Meridiana Tornasole,
Cleofe Stelladoro,
Caterina Solastro,
Regina Solenne,
Corinna e Beatrice Tramonti.
Pensate che cosa sono per loro
Le brutte giornate!

(Il Futurismo. 1909. № 7—9, стр. 64).

во время утомительнаго ночнаго бодрствованія, находясь въ состояніи полудремоты, Анна О. увидѣла, будто отъ стѣны къ ней ползетъ черная змѣя. Она хотѣла прогнать ее, но правая рука у нея не дѣйствовала (опущенная съ кресла, она просто затекла), и когда она взглянула на нее, она увидѣла, что пальцы руки превратились въ маленькихъ змѣекъ съ мертвыми головами. Послѣ этого рука больной потеряла способность двигаться и утратила чувствительность. Въ ужасѣ несчастная дѣвушка начала молиться, но вдругъ оказалось, что она не можетъ припомнить *по нѣмецки* ни одного слова. Зато ей пришли въ голову дѣтскіе стишки на англійскомъ языкѣ, и съ этого момента она могла говорить только на этомъ языкѣ. Припомнивъ, какъ все это произошло, больная вернула себѣ способность рѣчи по-нѣмецки. Почему она говорила раньше только по-англійски? По мнѣнію Брейера, вслѣдствіе того, что случайно вспомнила англійскія слова, когда забыла нѣмецкія. Но вопросъ, конечно, надо перенести въ другую плоскость: почему она не могла въ состояніи *необычныхъ* переживаній говорить на своемъ обычномъ языкѣ? Отвѣтъ ясенъ изъ предыдущаго случая: особыя переживанія требуютъ и языка необычнаго, въ данномъ случаѣ не сочиненнаго, да и времени для сочиненія его не было, англійскаго. Однако, и англійская рѣчь больной отличалась большими дефектами, переходя иногда почти въ нѣмоту. Брейеръ резюмируетъ психологическія причины, вызывавшія это пораженіе рѣчи у рассматриваемой больной, въ слѣдующихъ словахъ: „языкъ ея отказывался дѣйствовать: а) вслѣдствіе страха, внушеннаго ночной галлюцинаціей, б) вслѣдствіе того, что она *подавила въ себѣ* однажды желаніе высказаться, отвѣтить на несправедливый упрекъ больного отца; в) вслѣдствіе аналогичнаго случая, проглоченнаго ею безъ возраженія несправедливаго замѣчанія; г) вслѣдствіе другихъ подобныхъ случаевъ“. Иными словами, причины были лишь двѣ: 1) у больной „отъ страха отнялся языкъ“ (состояніе, которое въ болѣе слабой формѣ наблюдается и въ нормальныхъ условіяхъ, вызываясь по существу той же самой причиной, — распаденіемъ сознанія), и 2) она *подавила въ себѣ* желаніе говорить. И эта послѣдняя причина оказывается обычной въ нормальныхъ условіяхъ жизни: люди, скрытные не отъ природы, но вслѣдствіе разочарованій жизни, объясняютъ свою скрытность тѣмъ, что „все равно не стоитъ говорить“.

Анна О. покашливала, когда слышала музыку. „Этотъ кашель возникъ, рассказываетъ Брейеръ, послѣ того, какъ больная услышала въ сосѣдномъ домѣ бальную музыку; ей невольно подумалось, какъ хорошо было бы теперь побыть на балу, но она подавила въ себѣ это грѣховное желаніе и при этомъ кашлянула, и съ этого момента въ продолженіе всей своей болѣзни она реагировала на всякую сильно ритмическую музыку нервнымъ кашлемъ“. Отсюда уже недалеко до т. наз. истерическаго

„мутизма“, которому въ дальнѣйшемъ изложеніи необходимо посвятить нѣсколько строкъ.

Но прежде я останавлиюсь на тѣхъ явленіяхъ истеріи, которыя объясняютъ, вообще, различныя отклоненія въ правильности рѣчи у этихъ больныхъ, и указываютъ на то, какое громадное значеніе для концентраціи личности представляетъ языкъ. Одинъ изъ крупнѣйшихъ авторитетовъ въ области изученія истеріи, парижскій психіатръ Бабинскій (въ письмѣ къ Бине, напечатанномъ въ вышеупомянутой статьѣ объ истеріи *L'année psychologique* за 1910 г.), утверждаетъ, что „чистый истерикъ никогда не бываетъ вполне безсознательнымъ, и что онъ всегда обладаетъ полусознаніемъ призрачности (*vanité*) явленій, которыми онъ пораженъ; по этой причинѣ онъ оказывается чаще всего наименѣе опечаленъ своей болѣзью, а выздоровленіе его гораздо менѣе поражаетъ его самого, чѣмъ пользовавшихся его врачей ¹⁾ и присутствующихъ. Во всѣхъ житейскихъ обстоятельствахъ истерикъ ведетъ себя такъ, какъ будто бы онъ былъ отчасти хозяиномъ своей болѣзни, и какъ будто бы онъ не былъ вполне искрененъ; въ противоположность эпилептику, онъ подвергается припадкамъ только въ опредѣленныхъ мѣстахъ; почти всегда онъ выходитъ безъ всякаго потрясенія изъ такихъ припадковъ (*des crises cloupiques*), которые напугали окружающихъ; будучи одержимъ страшными галлюцинаціями, онъ не совершаетъ, какъ хотя бы галлюцинирующій алкоголикъ, опасныхъ для него самого дѣйствій, пораженный термической анестезіей (нечувствительностью къ теплу), на видъ весьма глубокой, онъ нисколько не рискуетъ сгорѣть; суженіе поля зрѣнія, какъ бы оно ни было ярко выражено, не мѣшаетъ ему, какъ это бываетъ при органическомъ суженіи поля зрѣнія, быстро ходить взадъ—впередъ, не натываясь на препятствія. Все это приближаетъ истерію къ притворству, и обыкновенно я говорю, что истерикъ есть до извѣстной степени притворщикъ“.

При этомъ, однако, нарушеніе сознанія все таки наступаетъ, и „притворство“ поражаетъ личность настолько глубоко, какъ это никогда не бываетъ при притворствѣ нормальномъ. Дѣло въ томъ, что „притворство“ начинается съ момента, когда одна идея, внушенная больному имъ самимъ или окружающей средой (напр., гипнотизирующимъ врачомъ), охватываетъ сознаніе съ такой силой, что начинается подборъ представленій, соответствующихъ этой идеѣ; извѣстная группа возбужденій не воспринимается сознаніемъ, но остается въ сферѣ подсознательной жизни, выступая, напр., только въ гипнотическомъ снѣ. „Вслѣдствіе своей безсознательности истерикъ теряетъ ощущеніе идеи (*le sentiment de l'idée*), которую ему внушили;

¹⁾ Такимъ образомъ, напр., истерикъ, не владѣющій рукой или ногой, относится къ своему пораженію съ полнымъ безразличіемъ; г. I. описанная г-жей Фелициной-Гурвичъ, жалѣла объ утратѣ своего бреда, появленія юноши въ бѣломъ платьѣ, который училъ ее.

онъ теряетъ память объ обстоятельствахъ, въ которыхъ было совершено внушение, и такимъ образомъ окончательно становится жертвой идеи, которой онъ не знаетъ и о которой не можетъ судить“. (Binet et Simon L'hysterie. 112). Это слово inconscience (безсознательность) авторы предпочитаютъ замѣнить понятіемъ *раздѣленія сознаний*. Почти то же самое подразумеваетъ П. Жане подъ терминомъ *раздвоенія личности* (le dédoublement de personnalité).

По его мнѣнію, „истерія является формой духовнаго разобщенія (désagregation mentale), характеризующаяся тенденціей къ постоянному и полному раздвоенію личности“. При истеріи, полагаетъ онъ, наблюдаются „ослабленіе психологическаго синтеза, абулія и суженіе поля сознанія, которое обнаруживается специфическимъ образомъ: извѣстно число элементарныхъ явленій, ощущеній и образовъ перестаетъ восприниматься и представляется чуждымъ личному воспріятію. Отсюда вытекаетъ тенденція къ длительному и полному раздѣленію личностей, къ образованію многочисленныхъ группъ, независимыхъ одна отъ другой; эти системы психологическихъ фактовъ или смѣняють одна другую, или сосуществуютъ. Наконецъ, это отсутствіе синтеза благопріятствуетъ образованію извѣстныхъ паразитарныхъ идей, достигающихъ полнаго развитія внѣ контроля личнаго сознанія, обнаруживаясь въ разнообразныхъ разстройствахъ на видъ чисто физическаго свойства“. (П. Жане. Неврозы и фиксированныя идеи, рус. пер. 1903; второй томъ французскаго оригинала, кажется, не переведенъ на русскій языкъ; другое классическое сочиненіе этого автора L'automatisme psychologique).

Уже изъ вышеприведенныхъ замѣчаній специалистовъ о сущности истерическихъ разстройствъ видно, что эти послѣднія же могутъ не отразиться и на языкѣ. Дѣйствительно, зависимость образности и живости рѣчи отъ настроенія едва-ли обнаруживается гдѣ-нибудь такъ ярко, какъ въ истеріи. Въ каждомъ изъ трудовъ, посвященныхъ этой болѣзни, можно найти примѣры этого. Поэтому, я ограничусь указаніемъ на одинъ случай, въ которомъ эта зависимость выступаетъ особенно ярко. Въ лѣтописяхъ истеріи извѣстны явленія смѣны двухъ сознаний, больного и здороваго, при чемъ въ одномъ состояніи человѣкъ не помнитъ о другомъ. Въ беллетристическомъ освѣщеніи (и, конечно, съ извѣстнымъ преувеличеніемъ ради красочности) мы находимъ изложеніе такого „раздвоенія“ въ рассказѣ Джерома „Смитъ и Смайтъ“. Смитъ былъ благовоспитаннымъ молодымъ человѣкомъ, который изысканно одѣвался и такъ же говорилъ, виталъ въ сферѣ возвышенныхъ чувствъ и утонченныхъ воспріятій, но, превращаясь въ Смайта (вульгарное прозвищеніе того же Smith), онъ становился разгульнымъ буяномъ, который скитался по кабакамъ въ обществѣ подозрительныхъ личностей и отчаянно ругался. Въ наукѣ подобную смѣну состояній представила „Фелида“, изученная однимъ изъ психіатровъ. Жане создалъ съ помощью

типнотизма „искусственную Фелиду“, исторія которой очень поучительна и для языковѣдѣнія¹⁾. Больная дѣвушка—истеричка, съ весьма тяжелой наслѣдственностью, съ припадками рвоты послѣ всякаго приѣма пищи, достигла такого истощенія, что лежала пластомъ на постели, почти не проявляя признаковъ жизни и сознанія. Въ этомъ состояніи ея подвергли гипнозу, внушивъ ей бодрость и способность ѣсть. Весь день Марселлина провела бодро; вечеромъ ее разбудили, и она пришла въ свое обычное вялое, полубезсознательное состояніе. Тогда ее перестали будить вечеромъ и оставляли подъ вліяніемъ гипнотическаго возбужденія въ продолженіе нѣсколькихъ дней, а потомъ и нѣсколькихъ недѣль. Съ іюня 1887 года до конца своей жизни (она умерла отъ чахотки въ концѣ 1901 года) Марселлина вела такое странное искусственное существованіе, пробуждаясь отъ времени до времени и тогда требуя новаго „завода“ для продолженія своей жизни. Благодаря прекращенію рвоты, у нея появился аппетитъ, прибавилъ вѣсъ тѣла; она могла поступить приказчицей въ магазинъ и даже получила здѣсь повышеніе, была сдѣлана надзирательницей. Характерно при этомъ, что „раздвоеніе личности“ у нея не принимало формы амнезіи предшествующаго состоянія; она сознавала, что нуждается во вѣншемъ внушеніи для того, чтобы выйти изъ апатіи; сама шла къ Жане, гипнотизировавшему ее, за новой порціей душевной бодрости; когда же впадала въ свое естественное удрученное настроеніе, то старалась скрывать его отъ хозяевъ и товарищей по службѣ и ухитрялась достигать этого.

Отражалась смѣна состояній и на ея рѣчи. Когда дѣйствіе внушенія проходило, Марселлина „возвращалась изъ магазина медленно, печально, пробираясь вдоль стѣнъ; придя домой, она не говорила съ матерью ни слова, ничего не ѣла или ѣла съ усиліемъ и сейчасъ же послѣ этого ложилась спать. Но ночью она не спала, а лежала съ полуоткрытыми глазами, какъ будто у нея не хватало силъ закрыть ихъ; въ дѣйствительности, она не спала, но лежала неподвижно. На разсвѣтъ она поднималась, чтобы идти въ магазинъ, при чемъ она и теперь не раскрывала рта. Тщетно было заговаривать съ нею, чтобы развлечь ее; она не отвѣчала или имѣла такой видъ, точно не понимала. Никогда отъ нея нельзя было добиться ни одного слова, ни одного жеста, который бы не былъ абсолютно необходимъ для ея работы“ и т. д. Совершенно иная картина, когда подъ вліяніемъ внушенія абулія и тяжелыя навязчивыя идеи, угнетавшія Марселлину, исчезали: она становилась „болѣе весела, болѣе откровенна, она лучше знала людей, она уже не приходила такъ легко въ ужасъ; она принимала приглашенія и дѣлала визиты. Вернувшись изъ своего магазина, она разговаривала съ матерью и принималась

¹⁾ *Pierre Janet. Une Férida artificielle. Revue Philosophique, T. 69, 1910.*

за всевозможныя рукодѣлія“. Такимъ образомъ, общее возбужденіе сейчасъ же отражалось и на ея языкѣ. Чувство растерянности, презрѣніе къ себѣ („работать съ такими куриными мозгами“, говорила про себя Марселлина) заставляли ее молчать: кому и что интересное она могла сказать?

Отсюда уже одинъ шагъ до полного прекращенія рѣчи, до истерической нѣмоты (мутизма), которая происходитъ нерѣдко отъ того, что истерически предрасположенному человѣку не дали возможности высказаться, когда это было такъ необходимо для него. Нордгофъ въ своей диссертациі „Ueber hysterischen Mutismus“ (1890), не представляющей, впрочемъ, большого психологическаго интереса, приводитъ нѣсколько относящихся сюда случаевъ. Такъ, дѣвушка служанка 22 лѣтъ, уже ранѣе бывшая въ больницѣ для умалишенныхъ, была несправедливо обвинена въ кражѣ и взята въ полицію; здѣсь она лишилась отъ ужаса сознанія, а когда очнулась, уже въ больницѣ, то оказалась нѣмой. Другую служанку, 17-лѣтнюю дѣвушку, которая также представляла странности въ своемъ поведеніи, хозяйка несправедливо обидѣла и даже побила, что она, однако, отрицала; какъ бы то ни было, дѣвушка была сильно потрясена, сдѣлала попытку повѣситься; когда ее вынули изъ петли, она оказалась также нѣмой. Третій случай таковъ: молодая женщина терпитъ отъ мужа обиды и находится въ тяжѣломъ, угнетенномъ состояніи; иногда дѣло доходило до маніи преслѣдованія; однажды мужъ побилъ ее даже на улицѣ, и бѣдная женщина отъ страха и боли потеряла сознаніе; когда же она очнулась, то оказалась также нѣмой. Во всѣхъ этихъ случаяхъ мы видимъ одно и то же душевное настроеніе; человѣкъ не могъ высказаться: положеніе молодой служанки, беззащитной передъ своей госпожей, или жены, гонимой мужемъ, не дало имъ возможности отвѣтить немедленно на обиду, заставило затаить горечь, и онѣ *затаили ее совѣсть*, т. е. замолчали; это диссоціація душевной жизни, которая привела не къ скрытности, какъ можно было бы ожидать въ нормальной жизни отъ человѣка, вынужденнаго молчать, но къ разстройству функціи рѣчи. Этотъ *мутизмъ* (въ отличіе отъ мутизма при душевныхъ болѣзняхъ, напр. въ меланхоліи) подвергался излѣченію, если больному давали возможность высказаться, прибѣгая къ гипнозу или осторожнымъ распросамъ. Въ такихъ состояніяхъ истерическаго мутизма ¹⁾, „подвергалась пораженію только система моторныхъ образовъ произносимой рѣчи (du langage vocal); это, конечно, создавало извѣстное препятствіе въ мыслительной дѣятельности. Когда одна больная поправилась, она рассказывала, что въ эти періоды мутизма, испытывала двоякое чувство: иногда ей казалось, что она знаетъ очень хорошо то, что хочетъ сказать, но только не можетъ выразить это; иногда же ей казалось, что она просто не знаетъ, что сказать“.

1) P. Janet. Les nevroses. II. 451.

Тотъ же ученый приводитъ въ названномъ сочиненіи случай, который бросаетъ свѣтъ на природу рѣчи: 25-лѣтняя дѣвушка, истощенная неправильнымъ образомъ жизни, теряетъ на время, иногда даже на срокъ въ 48 часовъ, способность рѣчи. „Она сохраняетъ способность пониманія звуковой рѣчи, но оказывается лишенной двигательныхъ представленій слова, не знаетъ, *какъ* говорить. Она негодуетъ, что ея не понимаютъ, и старается высказаться, придавая различныя интонаціи своему единственному слову *petit bedable*“. Стоило загипнотизировать эту больную, т. е. отвлечь ея вниманіе отъ того, что ее угнетало, и она начинала говорить правильно и по-французски, и по-англійски, при чемъ въ этомъ состояніи высказывала и такія вещи, которыхъ, навѣрное, не хотѣла бы говорить. Но стоило остановить ея гипнотическій бредъ, и она опять возвращалась къ своему невразумительному слову: *petit bedable*. Такъ, истерія создала и мутизмъ, и моторную афазію. Еще дальше разстройство рѣчи при истеріи заходитъ въ случаяхъ истерической глухонѣмоты. Нѣсколько любопытныхъ примѣровъ этого рода изъ литературы и собственныхъ наблюденій приводятъ французскій врачъ Робень (*F. Robin. De la surdicécité et des moyens employés pour communiquer avec les personnes atteintes de surdicécité. Thèse. Bordeaux. 1902*). Такъ, одной больной явился призракъ со страшнымъ лицомъ, который сказалъ ей: „ты умрешь“. Больная лишилась чувствъ и почти не проявляла признаковъ жизни. Очнувшись, она не могла пользоваться органами своихъ чувствъ и была слѣпа, глуха и нѣма. Излѣченіе, которое шло очень медленно и трудно, имѣло характеръ внушенія. Ухаживавшая за больной монахиня сумѣла вступить съ ней въ общеніе съ помощью написанія (рукой самой больной) вопросовъ и отвѣтовъ. Такъ, ей была внушена сначала способность рѣчи, потомъ зрѣнія и наконецъ слуха. Характерно, что органы рѣчи при нѣмотѣ были поражены настолько сильно, что больная не только не могла говорить даже шопотомъ, но и оказалась не въ состояніи глотать.

Такимъ образомъ, разстройства и особенности рѣчи въ истерическихъ состояніяхъ представляютъ тотъ интересъ, что они стоятъ на рубежѣ нормальнаго и болѣзненнаго; увеличьте нормальную молчаливость, созданную нравственными причинами, и получите истерическій мутизмъ, а отъ него уже одинъ шагъ до тѣхъ формъ прекращенія рѣчи, которыя наблюдаются при сильныхъ разрушеніяхъ мозговыхъ центровъ и проводниковъ или при тяжкихъ душевныхъ болѣзняхъ. Въ волненіи, въ порывѣ увлеченія наша рѣчь прерывается, мы забываемъ нѣкоторые слова и т. под. Истерическое волненіе приводитъ къ афазіи, отъ которой опять таки уже одинъ шагъ до кортикальной и транскортикальной афазіи, поскольку, разумѣется, дѣло идетъ о пораженіяхъ рѣчевой функціи, а не физиологическихъ причинахъ этихъ пораженій.

Въ виду этого мнѣ казалось необходимымъ посвятить истеріи извѣстное вниманіе и въ трудѣ, занимающемся отношеніями между рѣчью и мыслью. Но не лишены интереса и другія явленія ненормальной душевной жизни человѣка, отражающіяся на языкѣ его. Не вдаваясь въ большія подробности, я останавлиюсь лишь на нѣкоторыхъ изъ нихъ. Таковъ, напр., „психическій инфантилизмъ“, задержка въ развитіи, которая дѣлаетъ взрослого человѣка во всемъ подобнымъ ребенку. Это „патологическое переживание характерныхъ признаковъ дѣтства въ такомъ возрастѣ, который уже переступилъ за предѣлы физиологическаго дѣтства“¹⁾. Дѣвушка въ 21 годъ производитъ по своему физическому развитію впечатлѣніе 12-лѣтняго ребенка; по умственному развитію она также не превышаетъ ребенка этого возраста; въ своихъ настроеніяхъ и сужденіяхъ она обнаруживаетъ совершенную зависимость отъ окружающихъ, и авторитетъ сосѣдокъ въ ея глазахъ неизблѣмъ. Въ рѣчи ея сказывается затрудненность (*Sprechergewicht*) даже при передачѣ самыхъ простыхъ вещей. Другая пациентка, 23 лѣтъ, „обладаетъ извѣстнымъ количествомъ понятій, но эти послѣднія только нахватаны ею, не представляя продуктовъ собственнаго убѣжденія и умственной работы“. Бесспособность въ душевной жизни этихъ отсталыхъ полудѣтей обнаруживается и въ ихъ характеристикахъ предметовъ. Какъ бы они назвали, напр., *солнце*, какой признакъ выбрали бы для того, чтобы въ словѣ дать описаніе? Пяти пациентамъ отсталымъ былъ предложенъ этотъ вопросъ. Вотъ ихъ отвѣты: „это, что является на небѣ“, „это, что является только днемъ“, „что за насъ заходитъ и свѣтитъ“ (*was auf uns untergeht und leuchtet*), „небесное тѣло, какихъ много“, „что есть на небѣ, даетъ свѣтъ и тепло, лѣтомъ больше, чѣмъ зимой“. Характерно также для рѣчи этого типа людей стремленіе избѣгать отвлеченныхъ словъ и ихъ пристрастіе къ стихамъ и къ звонкимъ рѣчамъ. Общая умственная бесспособность выражается въ скудости словеснаго матеріала. „Замѣчательно также, что нѣкоторые (изъ отсталыхъ въ развитіи) вмѣсто всякаго отвѣта при разговорѣ, а особенно при изслѣдованіи, ограничивались пожиманіемъ плечъ“ (*Di Gaspero. 83*). Конечно, сами додуматься до пониманія значенія словъ эти больные не могли бы, но и въ томъ богатомъ наслѣдіи языка, которое досталось имъ отъ предшествующихъ поколѣній, они совершенно не умѣютъ ориентироваться. Такимъ образомъ, характерными для психическаго инфантилизма явленіями оказываются склонность къ ритму и рѣимъ, восходящая, какъ я постараюсь доказать въ дальнѣйшемъ изложеніи, къ самымъ первоисточникамъ человѣческой рѣчи, затѣмъ незначительность абстрактныхъ словъ и стремленіе вмѣсто названій давать примитивнѣйшія и случайныя описанія предметовъ. Съ точки зрѣнія изслѣдователя языка

¹⁾ См. подробное изслѣдованіе *H. di Gaspero. Der psychische Infantilismus. Eine klinisch-psychologische Studie. Archiv für Psychiatrie. B. 43. 1907.*

эта форма представляет, можно сказать, не индивидуальный психический, но расовый инфантилизм, нѣчто присущее человечеству на первых шагахъ его умственного развитія. Въ данномъ случаѣ, такимъ образомъ, приходится, согласно съ Бине и Симонъ, „видѣть въ психопатологiи одинъ изъ лучшихъ методовъ психологическаго анализа“ (*Année psych.* 1909, стр. 1).

Отъ инфантилизма перейдемъ къ тому явленію, которое составляетъ симптомъ различныхъ душевныхъ болѣзней и представляетъ состояніе спутанности ¹⁾ сознанія, которое заключается въ нарушеніи его ясности и порядка. По словамъ названныхъ изслѣдователей спутанности, не трудно самимъ на себѣ провѣрить это состояніе, припомнивъ сложные, нелѣпыя, непередаваемые сны свои или вспомнивъ первыя степени опьяненія, или возстановивъ въ своей памяти тѣ переживанія страха, когда „предметы, лица, слышимыя слова кажутся покрытыми какою-то вуалью и производятъ впечатлѣніе чего-то новаго, страннаго, таинственнаго“. Умственная спутанность можетъ сопровождаться бредомъ, галлюцинаціями, возбужденіемъ или, наоборотъ, апатіей; она выражается въ непониманіи окружающаго, въ безсвязности словъ и дѣйствій. Такъ, въ состояніи оуптѣнія, когда воспріятія или совѣтъ не достигаютъ сознанія, или доходятъ до него очень медленно и поздно, получается слѣдующая картина. „Сначала (до постепеннаго выздоровленія, описаннаго д-ромъ Режи) больная не выражала ничего, и лицо ея оставалось совершенно безстрастнымъ, какъ будто бы она ничего не слышала и не понимала. Позже мы замѣтили, что послѣ того, какъ ей былъ предложенъ вопросъ, но все-таки лишь по прошествіи извѣстнаго времени, причемъ ни тѣло, ни лицо попрежнему ничего не выражали, глаза ея на мгновеніе вспыхивали. Это былъ первый признакъ связи съ внѣшнимъ міромъ послѣ двухъ мѣсяцевъ кажущейся душевной смерти. Потомъ блескъ глазъ стала сопровождать улыбка, мелькавшая по ея губамъ; потомъ на лицѣ стало обнаруживаться движеніе; низкимъ голосомъ больная произносила нѣсколько словъ, и такъ, наконецъ, постепенно складывалось все остальное. Но, что было наиболѣе замѣчательно, это—то, что эти различныя выраженія дѣятельности, даже будучи возстановлены, производились лишь чрезвычайно медленно и съ большими промежутками между однимъ и другимъ. Такъ, напр., больной, сидѣвшей рядомъ на креслѣ, задавали вопросъ, и сначала не наступало никакой реакціи; лицо, какъ маска, оставалось безъ всякаго выраженія. Но спустя одну или двѣ секунды глаза ея загорались и начинали блистать; спустя мгновеніе, на лицѣ появлялась улыбка, затѣмъ голова медленно поворачивалась къ собесѣднику, и, наконецъ, оче-

¹⁾ *E. Régis.* La confusion mentale. *Annales médico-psycholog.* 1905. *A. Binet et Th. Simon.* La confusion mentale. *Année psych.* 1911.

редь доходила до отвѣта, послѣдняго заключенія этой мимики, которая медленно складывалась, точно механически, изъ шести частей и кусковъ“. На рѣчь состояніе спутанности налагаетъ свою выразительную печать, которой въ менѣ яркой формѣ соотвѣтствуетъ и характеръ нормальной рѣчи въ нормальныхъ состояніяхъ растерянности. Слова слѣдуютъ одно за другимъ медленно и спутанно, больной забываетъ слова и никакъ не можетъ ихъ припомнить, съ трудомъ подыскиваетъ слова, соотвѣтствующія его мысли, не умѣетъ составить изъ нихъ фразы. Не будучи въ состояніи говорить связно и отчетливо, больной оправдывается: „въ моей головѣ все мѣшается“, или „я ищу свои мысли“, „у меня больше нѣтъ мыслей“, „я всегда въ облакахъ“, „я не отдаю себѣ отчета въ томъ, что происходитъ“ и т. под. Человѣкъ, который не можетъ говорить, потому что „ищетъ своихъ мыслей“, обнаруживаетъ, какъ общая спутанность сознанія непосредственно отражается на способности говорить, т. е. въ данномъ случаѣ на внутренней рѣчи, какъ эквивалентъ сознанія. Весьма характерно, что и здѣсь, какъ въ такъ наз. оптической афазіи, въ психическомъ инфантилизмѣ и тому подобныхъ явленіяхъ, слово замѣняется описаніемъ. Такъ, больная, страдающая спутанностью идей, меланхолическая и тревожная, сохранила довольно высокій уровень пониманія ¹⁾. „Но, когда вопросъ, предлагаемый ей, представляетъ извѣстную сложность, онъ становится источникомъ всяческихъ недоумѣній, и, можетъ быть, именно эти послѣднія заволакиваютъ ея сознаніе. Приведемъ нѣсколько примѣровъ. Мы спрашиваемъ ее, что такое *вилка*. Отвѣтъ: Вилка?.. Это, чтобы ѣсть... Иначе я не могу вамъ отвѣтить. Я не понимаю, что вы хотите сказать въ эту минуту, со мной что-то случилось, я не понимаю. То, чего она не понимаетъ, заключается въ причинѣ нашего вопроса, хотя мы объяснили ей, чего мы хотимъ, и просили ее сдѣлать надъ собой усиліе, чтобы отвѣтить намъ. Но здѣсь нашъ вопросъ былъ легокъ. Относительная неспособность больной примѣняться не помѣшала ей отвѣтить сначала точно. Мы переходимъ теперь къ вопросамъ болѣе труднымъ: что нужно сдѣлать, если пропустишь поѣздъ? Отвѣтъ: пропустишь поѣздъ? Я не понимаю, докторъ, *пропустить поѣздъ*? Вы хотите сказать, что я сѣла на поѣздъ? Вопросъ: нѣтъ, нѣтъ, рѣчь идетъ вовсе не о васъ! Вы просто отвѣтите на этотъ вопросъ (и мы повторяемъ его въ тѣхъ же выраженіяхъ). Отвѣтъ: пропустишь поѣздъ? Ахъ, докторъ, я никакъ не могу понять этого?“ Въ данномъ случаѣ непониманіе простого вопроса обусловлено неспособностью сосредоточиться на немъ, массой сомнѣній, недоумѣній, постороннихъ чувствъ, которыя примѣшиваются къ акту пониманія. Отъ этого же получается и безсвязность рѣчи и письма при этой формѣ душевнаго расстройства. Случайныя ассоціаціи идей, нагроможденіе словъ, появленіе

¹⁾ Примѣръ изъ статьи Бине и Симона объ умственной спутанности.

нелѣпыхъ сочиненныхъ словъ и т. под. характерны для этой формы спутанности сознанія. Личность больного какъ будто носится безъ руля и компаса по взволнованному морю явленій, и всякая, болѣе сильная волна можетъ переменить направленіе ея ладьи.

Отъ спутанности сознанія временной и излѣчимой, не вычеркивающей изъ способностей человѣка дара рѣчи, перейдемъ къ спутанности постоянной, къ слабоумію и идиотизму. Въ этихъ состояніяхъ рѣчь, несомнѣнно, должна подвергнуться значительному разстройству, но болѣе внутренняя рѣчь, чѣмъ внѣшняя. Солье полагаетъ, что словоизверженіе идиотовъ зачастую совершенно не соотвѣтствуетъ актамъ сознанія. Это развитіе „рѣчи“ ихъ едва-ли превышаетъ, по существу, говореніе попугая или ученаго скворца. Иногда довольно обширный словарь идиота состоитъ изъ словъ, значеніе которыхъ остается для него темно, такъ что даже мышленіе его происходитъ, по мнѣнію Солье, „съ помощью образовъ, представляющихъ дѣйствіе“. „Нѣкоторые идиоты, благодаря слуховой или зрительной памяти, сохраняютъ память о слышанныхъ или написанныхъ словахъ, могутъ даже повторять и обладаютъ такимъ образомъ довольно значительнымъ словаремъ, не разумѣя однако идей, заключающихся въ словарѣ“ ¹⁾. Въ другомъ мѣстѣ своего сочиненія Солье опредѣляетъ этотъ уровень духовной жизни въ слѣдующихъ словахъ: „Тѣ идиоты, которые обладаютъ крайне ограниченнымъ словаремъ, знаютъ, тѣмъ не менѣе, довольно большое число предметовъ и способны къ извѣстнымъ работамъ, которыя должны быть понятны и требуютъ нѣкотораго навыка. И лучшимъ доказательствомъ того, что ихъ умъ способенъ къ такому навыку, служитъ фактъ совершенствованія ихъ въ своемъ дѣлѣ. Эта способность присуща только дѣятельности разумной, тогда какъ, напротивъ, акты чисто автоматическіе не способны къ совершенствованію. Они догадываются о томъ, что надо сдѣлать, и это указываетъ на извѣстную степень разсужденія, которое идиоты, впрочемъ, оказываются не въ состояніи формулировать. Въ этомъ смыслѣ ихъ можно сравнить съ животными: напр., съ собакой, которая угадываетъ на основаніи своихъ предшествующихъ опытовъ, что сдѣлаетъ сейчасъ хозяинъ, угадываетъ такъ же, какъ это сдѣлалъ бы и человѣкъ, съ тою лишь разницей, что она разсуждаетъ безъ словъ, но съ помощью образовъ“. Характерна также для идиотовъ страсть къ стихамъ и ритму. „Идиотъ любитъ ритмическій шумъ, даже независимо отъ голоса. Поэтому ему нравится шумъ струга, пилы или мѣрно ударяющаго молотка“ (Sollier. 132). Что касается словаря идиотовъ, стоящихъ на сравнительно высокомъ уровнѣ умственного развитія и способныхъ сознательно говорить, то здѣсь наблюдаются также

¹⁾ *P. Sollier. Psychologie de l'idiot et de l'imbécile. Paris, 2 изд., 1901, стр. 155.*

любопытныя явленія: такъ, идіоты обнаруживаютъ стремленіе, какой-то искаженный остатокъ переживаній древнѣйшихъ временъ—давать всякому предмету какое-нибудь названіе, но, такъ какъ они весьма плохо ориентированы въ качествахъ, то одно и то же названіе получаютъ предметы, находящіеся въ какомъ-либо случайномъ отношеніи другъ къ другу (Штеррингъ, 227). Впрочемъ, въ говорящей средѣ, окружающей идіота или слабоумнаго, достаточно выйти изъ состоянія полной апатіи или животной жизни, чтобы усвоить себѣ съ помощью *инстинктивнаго подражанія* способность рѣчи. На этомъ основывается едва ли правильное, по существу, заключеніе Штерринга, будто развитіе рѣчи является сравнительно независимымъ отъ развитія другихъ умственныхъ отправленій, и что нерѣдко идіоты, значительно превосходящіе другихъ по способности рѣчи, въ то же время по общему умственному развитію стоятъ гораздо ниже послѣднихъ. Это можно понять лишь въ томъ смыслѣ, что рѣчь не является здѣсь процессомъ умственного творчества, но разряженіемъ энергіи по путямъ, созданнымъ подражаніемъ рѣчи окружающихъ людей.

Точное ограниченіе одной формы умственной отсталости отъ другой до сихъ поръ еще не установлено окончательно ¹⁾, и Бине и Симонъ предлагаютъ установить слѣдующую классификацію: *идіотизмъ* соответствуетъ умственному развитію ребенка отъ 0 до 2 лѣтъ (т. е. отъ полной безсознательности до пробужденія сознанія), общеніе съ внѣшнимъ міромъ совершается при этомъ состояніи съ помощью жеста; *слабоуміе* характеризуется умственнымъ развитіемъ ребенка отъ 2 до 7 лѣтъ и общеніе происходитъ съ помощью слова, тогда какъ *неразвитость* (*débile* въ отличіе отъ *imbécile*) соответствуетъ возрасту отъ 7 до 12 лѣтъ и характеризуется уже способностью письма. Если стать на почву этой классификаціи, то придется идіотовъ, говорящихъ и декламирующихъ, отнести уже къ разряду слабоумныхъ, а напр. слабоумнаго Вузена, описаннаго тѣми же психологами въ монографіи „объ умѣ слабоумныхъ“ ²⁾, признать идіотомъ. Вузенъ, 20-лѣтній юноша, еще совершенно не говоритъ; „онъ похожъ на животное, которое только начинаютъ дрессировать. Если его зовутъ, онъ является и приближается, и даже, если онъ находится во дворѣ лѣчебницы, онъ прибѣгаетъ всякій разъ, когда открывается дверь; онъ устанавливается передъ дверью, чтобы видѣть, кто идетъ, обнаруживая такимъ образомъ наивное любопытство животного. Если сказать ему

¹⁾ „Со времени Эскироля эта работа подвинулась не слишкомъ далеко впередъ. Не удалось еще ни установить точныя и практически пригодныя подраздѣленія между различными степенями отсталости, ни отдѣлать отсталого отъ нормальнаго, ни даже опредѣлить истинную природу умственной слабости, которая характеризуетъ отсталого“. A. Binet et Th. Simon. L'Arriération. Année psychologique. 1910, стр. 352.

²⁾ L'intelligence des imbéciles. Année psychologique. 1909.

добрый день, протянувъ руку, то словами онъ на привѣтствіе не отвѣтитъ; онъ не умѣетъ говорить, но онъ понимаетъ значеніе протянутой руки: онъ подастъ вамъ палецъ, единственный палецъ, но это вовсе не результатъ плохого воспитанія, какъ у нормальнаго человѣка, или непроявленіе неудовольствія, а просто неумѣніе. Если ему подать какой-нибудь предметъ, то иногда онъ его вовсе не беретъ, иногда же, наоборотъ, схватываетъ его неловкимъ жестомъ; онъ протягиваетъ руку ладонью, съ вытянутыми пальцами; можно подумать, что онъ ждетъ, чтобы ему на руку положили два су. Иногда же онъ не прибѣгаетъ вовсе къ помощи рукъ, которыя висятъ, какъ плети, вдоль его тѣла, а если ему протянуть пищу, то онъ вытягиваетъ ротъ, чтобы взять ее, совершенно такъ же, какъ дѣлаетъ животное“. Такимъ образомъ, идиотизмъ въ той формѣ, какая описана въ вышеприведенныхъ строкахъ, представляетъ *состояніе до-языка*. И такъ же смотрѣли на идиотизмъ старые писатели, напр. Дагоне, Кусмауль и Гризингеръ. Ассоціаціи въ психикѣ идіота оказываются уже настолько прочными, что руководятъ поведеніемъ его; на этой почвѣ устанавливается даже пониманіе дрессировки. Вузенъ прибѣгаетъ на зовъ и подаетъ палецъ, какъ собака лапу. Но дальше онъ не идетъ. Это животное, но животное больное. Болѣзненное состояніе его въ отличіе отъ нормальнаго животнаго обнаруживается и въ неустойчивости вниманія: если передъ лицомъ Вузена держать бисквитъ, то онъ идетъ за нимъ, но не долго; вниманіе его скоро разсѣивается, тогда какъ собака можетъ долго и сосредоточенно смотрѣть на вкусный кусокъ, отвлекаясь отъ него и опять сосредоточиться на наблюденіи. Скорѣе, обезьяна обнаруживаетъ разсѣянность вниманія, которая напоминаетъ идиотизмъ. Вообще, этотъ послѣдній переноситъ насъ лишь до известной степени въ то отдаленное прошлое человѣческаго рода, когда онъ еще не зналъ языка. Идіотъ не способенъ приспособиться къ самостоятельной жизни; онъ уже утратилъ тѣ навыки, съ помощью которыхъ первобытный человѣкъ добывалъ пищу или защищался отъ враговъ. Но умственная жизнь его руководится такъ же только теченіемъ образовъ, какъ и у отдаленныхъ предковъ говорящаго человѣка, а страсть къ болтовнѣ, ритму, рѣмѣ у высшихъ идіотовъ соответствуетъ пристрастіямъ и того „антропомитека“, отъ котораго пошли люди. Вѣроятно, въ дальнѣйшемъ своемъ расовомъ развитіи они прошли черезъ стадію современнаго „слабоумія“, при чемъ и здѣсь надо отвлечь его патологическіе признаки. Такой слабоумной, еще очень не далеко ушедшей отъ идиотизма, является Дениза, изученная въ названномъ изслѣдованіи Бине и Симономъ. Для нея характерна „эхомимія“, т. е. воспроизведеніе всѣхъ жестовъ, которые совершаются передъ нею, подражательность, доведенная до абсурда. Какъ звѣрокъ, Дениза общительна и довѣрчива съ тѣми, къ кому она привыкла, но присутствіе посторонняго дѣлаетъ ее серьезной и сдержанной; при этомъ

она очень склонна къ послушанію. Вниманіе Денизы разсѣивается очень легко. „Она понимаетъ довольно хорошо наши слова, но сама почти не умѣетъ говорить. Вообще, она относится очень внимательно къ тому, что мы говоримъ ей, но вниманіе ея коротко; она внимательно смотритъ на насъ, но затѣмъ ее привлекаетъ другое возбужденіе; напр., на нее оказываетъ свою протягательную силу окно; точно также она никакъ не можетъ не обернуться, когда открывается дверь въ кабинетъ; ей хочется посмотрѣть, кто это вошелъ, и въ такомъ случаѣ она забываетъ о насъ, потому что послѣ того, какъ она посмотрѣла на дверь, ея вниманіе не возвращается къ намъ“. Слабоумные, напротивъ, говорятъ, но и у нихъ слово является еще малоприспособленнымъ орудіемъ душевной дѣятельности. Въ то время, какъ нормальный человѣкъ можетъ произнести, вызвавъ въ своей памяти, до 100 словъ въ 3 минуты (столъ, домъ, шляпа и т. д.), для слабоумнаго такое количество словъ совершенно недостижимо. При всемъ желаніи угодить экспериментатору, которое характерно для нѣкоторыхъ изъ слабоумныхъ, имъ удастся произнести 20—30 словъ. „Созданіе идей“ (idéation) оказывается для нихъ недостижимо. „Они произносятъ названія только обыкновенныхъ вещей, по нѣсколько разъ они пользуются однимъ и тѣмъ же словомъ и наконецъ, что особенно характерно для нихъ, они ищутъ идеи, осматриваясь вокругъ, и часто называютъ вещи, которыя находятся тутъ же, что служитъ признакомъ бѣдности идеаци“. Другими словами, это значитъ, что на такой низкой ступени развитія, какую переживаетъ теперь слабоумный, и какую переживалъ когда-то весь человѣческій родъ, первыя названія понадобились для предметовъ видимыхъ, окружающихъ. Къ этому выводу мы уже пришли и раньше при изученіи разстройствъ рѣчи. Но глубоко слабоумные, произносящіе всего нѣсколько словъ, обнаруживаютъ и другой дефектъ, также не лишенный значенія для психологіи языка. Чѣмъ меньше человѣкъ способенъ говорить, тѣмъ ниже оказывается его способность что-либо изображать. Денизѣ даютъ перо, и она можетъ только нарисовать нѣсколько черточекъ, разбросанныхъ беспорядочно по листу бумаги; оказывается, однако, что и эти „рисунки“ не представляютъ еще самаго простого, что можетъ нарисовать человѣкъ. Черточки Вузена еще болѣе просты и, кромѣ того, онъ не способенъ владѣть перомъ; его палочки расположены одна на другой, тогда какъ у Денизы онѣ уже немного закруглены, какъ будто для письма, и не налѣзаютъ одна на другую. Немного болѣе развитой слабоумный, Жентиль, который можетъ произнести больше словъ, чѣмъ Дениза, обнаруживаетъ величайшее удовольствіе, когда ему даютъ карандашъ, хотя и засовываетъ его сначала глубоко въ ротъ. Когда онъ пишетъ перомъ, то обмакиваетъ его правильно въ чернильницу, но иногда забываетъ это сдѣлать и продолжаетъ чертить сухимъ перомъ. Онъ пишетъ уже не палочки, но зигзаги, какъ будто

рядъ соединенныхъ буквъ *п*. И такъ отъ идіотовъ къ слабоумнымъ развивается параллельно дару рѣчи способность создавать графическія изображенія, пока мы не доходимъ до буквъ. Болѣе развитое вниманіе, болшая степень зрительнаго развитія, въ смыслѣ точности зрительныхъ образовъ, создаютъ и лучшее письмо у человѣка, едва начинающаго пробуждаться для умственной жизни. Но даже у слабоумныхъ, способныхъ говорить, обнаружилась чрезвычайная бѣдность словесныхъ ассоціаций. Обычный опытъ, заключающійся въ произнесеніи перваго попавшагося слова въ отвѣтъ на услышанное, давалъ у нихъ весьма жалкіе результаты: чаще всего это были повторенія того же слова (*пѣвецъ-пѣвецъ, бѣгу-бѣгу* и т. д.). Если же опытъ удастся, то, въ общемъ, слабоумнымъ нужно меньше времени для нахожденія ассоціруемаго слова, чѣмъ нормальнымъ людямъ, которые какъ будто болѣе выбираютъ, а не говорятъ, что попало. „Когда нормальный человѣкъ размышляетъ о чемъ-нибудь, онъ не довольствуется тѣмъ, чтобы вызвать образъ, но у него есть и цѣль, къ которой онъ стремится; онъ старается примѣнить свои образы къ этой цѣли, и ради этого примѣненія онъ выбираетъ образы; онъ ищетъ ихъ, гонитъ отъ себя, удерживаетъ. Эта работа выбора есть трудъ, въ которомъ обнаруживается разумность дѣйствующаго лица. Когда его просятъ сказать слово послѣ того, которое произносятъ передъ нимъ, онъ болѣе или менѣе старается найти подходящее слово; вслѣдствіе этого у него нерѣдко является смущеніе; отъ этого также на нѣкоторые отвѣты уходитъ много времени. У слабоумнаго работа идеаци представляется намъ болѣе простой. Вѣроятно, слабоумный говоритъ первое слово, которое пришло ему въ голову; во всякомъ случаѣ, если онъ устраняетъ нѣкоторыя слова, какъ несоотвѣтствующія, эта работа избранія чрезвычайно коротка и ограничена“. Такимъ образомъ, и въ этомъ случаѣ мы видимъ, какъ близка рѣчь слабоумныхъ къ простому набору словъ.

Вялость и лѣность ума, характерная для современнаго дикаря (такимъ ли былъ первобытный человѣкъ, объ этомъ рѣчь будетъ ниже), представляетъ типическую особенность слабоумія. „Бесѣда, которую удается вести съ слабоумными, отличается поверхностностью; имъ нечего сказать, они не любятъ рассказывать, не увлекаются воображеніемъ и ограничиваются короткими отвѣтами“. Даже приподнятое чувство не формулируется въ словахъ. Слабоумный кроткій Альбертъ, 27 лѣтъ, умѣетъ давать на вопросы короткіе и отрывочные отвѣты. Однажды онъ явился въ кабинетъ доктора съ голубымъ тазомъ, который былъ привязанъ къ талии, лицо его расплывалось въ блаженную улыбку, голова была поднята вверхъ съ гордымъ самосознаніемъ. Видимо, у человѣка душа была переполнена. Между тѣмъ выразить это свое настроеніе Альбертъ оказывался не въ состояніи, хотя своимъ новымъ занятіемъ, порученіемъ мыть тарелки, онъ былъ необычайно гордъ. „Что же, вамъ нравится мыть тарелки? Да! Ну, такъ

скажите же что-нибудь объ этомъ, расскажите. Я не знаю, что сказать“. Болтливый слабоумный, который въ восхищеніи отъ себя, отъ своего ума, силы и красоты, любилъ давать пространные отвѣты, также обнаруживалъ при этомъ чрезвычайную скудость словъ, и мысль его двигалась путемъ самыхъ простыхъ ассоціацій. И въ томъ наборѣ фразъ, который представляетъ собою рѣчь этого слабоумнаго, мысль совершенно не развивается. Во всякомъ случаѣ, у него рѣчь является выраженіемъ живого чувства, сознанаго человѣкомъ, и этотъ выводъ представляетъ извѣстный интересъ для психологіи языка. Числовые отношенія, какъ наиболѣе отвлеченныя, совершенно ускользаютъ отъ разумнѣнія слабоумныхъ, когда они не связаны съ конкретными образами: больной знаетъ, что у него два уха и два глаза, но, складывая два и два, получаетъ три, охотно соглашается съ тѣмъ, что ему сто лѣтъ и т. п. Недостатокъ способности различать и сочетать не допускаетъ развитія сколько-нибудь сложнаго словаря, и опредѣленія слабоумныхъ носятъ описательный характеръ.

Отъ особенностей рѣчи у идіотовъ и слабоумныхъ перейдемъ къ языку умалишенныхъ. Уже вышеприведенная цитата изъ курса проф. Корсакова указываетъ на тѣсную связь между болѣзненнымъ возбужденіемъ и быстротой рѣчи, которая превращается, наконецъ, въ наборъ словъ. Подъ влияніемъ навязчивыхъ идей, измѣняется и словарь душевнобольнаго: онъ говоритъ торжественнымъ языкомъ Св. Писанія, декламируетъ стихами, коверкаетъ иностранные языки, даже сочиняетъ свой собственный языкъ (Kussmaul. 57), новые символы и слова для новыхъ чувствъ и новыхъ идей; старымъ словамъ онъ придаетъ новое значеніе: однимъ словомъ, для новыхъ состояній сознанія требуется и новый, *свой* языкъ, который или заключается въ присвоеніи старымъ словамъ новаго значенія, или состоитъ изъ совершенно новыхъ словъ. Это общій процессъ и въ истеріи, и въ другихъ формахъ *новаго* измѣненнаго состоянія, который бросаетъ яркій свѣтъ на *волевой* элементъ, дѣйствующій въ созданіи языка.

Такъ, у страдающихъ маніей, по словамъ Либмана и Эделя, „логическая связь (въ рѣчи) часто совершенно отсутствуетъ. Ея мѣсто занимаютъ часто лишь словесныя ассоціаціи, которыя связываютъ между собою фразы. Зачастую больной привязывается именно къ тому, что онъ видитъ или слышитъ. Нѣкоторые впадаютъ въ безконечное риемоплетство, при чемъ цѣпляются риему за риему по слабой внутренней связи или даже совсѣмъ безсмысленно“. При остромъ помѣшательствѣ, сообщаютъ эти изслѣдователи, больные говорятъ вслѣдствіе сильнаго возбужденія по большей части крикливымъ голосомъ. Иногда же рѣчь превращается въ таинственный шопотъ. Съ точки зрѣнія артикуляціи, рѣчь ихъ оказывается, по большей части, безупречной. Одной изъ больныхъ пришла въ

голову странная мысль, что звуки *h* и *f* неприличны; поэтому она стала выпускать („das sind Dinge, die ich immer ermieden abe“). Больные часто останавливаются и начинают раздумывать, как будто обрывалась нить их мысли. Некоторые говорят медленно, буква за буквой. Поражает въ большинствѣ случаевъ говорливость страдающихъ острымъ помѣшательствомъ. Многие говорятъ безъ перерыва нѣсколько часовъ сряду, но рѣчь ихъ превращается въ полнѣйшую бессмыслицу. Связное содержаніе совершенно отсутствуетъ, потому что нить мысли постоянно прерывается влѣдствіе вмѣшательства бредовыхъ идей. Зачастую совершенно случайныя ассоціаціи даютъ направленіе рѣчи—„Эльба Одеръ“, „дѣнь-ночь“, „Drei-Dreck“ (три-грязь). Многие начинаютъ подбирать рѣчи, безъ всякаго размѣра или съ размѣромъ. Поразительно частое повтореніе однѣхъ и тѣхъ же фразъ; иногда рѣчь превращается въ простой наборъ слоговъ. Пока рѣчь имѣетъ связный характеръ, правила грамматики не нарушаются; склоненіе, спряженіе совершаются правильно, но синтаксисъ начинаетъ сильно хромать. Фразы превращаются иногда въ безсвязное съ внѣшней стороны перечисленіе нѣсколькихъ важнѣйшихъ словъ (телеграфный стиль). Наоборотъ, при *Paranoia hypochondrica* больной иногда опасается произносить некоторые слова или слоги, потому что слова, звучація „неприлично“, могутъ повлечь за собой страшныя кары со стороны враговъ, или названія болѣзней вызовутъ появленія этихъ болѣзней. Суетвѣрія эти имѣютъ, какъ извѣстно, весьма широкое распространеніе среди некультурнаго человѣчества. Вотъ нѣсколько примѣровъ: больная, страдающая острымъ сумасшествіемъ, произноситъ такой монологъ. „Болѣло и бѣлѣло, что бѣлѣло, то бѣлѣло, чернѣло и бѣлѣло, и кто ихъ только слышалъ здѣсь, не мой скворецъ здѣсь, а... одинъ скворецъ, два, три, стая... скворешница, скворецъ, скворецъ мой молодецъ, и сказочкѣ конецъ, скворецъ и конецъ, коготокъ-ноготокъ“ и т. д. (Штеррингъ. 151). Все это произносится залпомъ и съ чрезвычайной быстротой. Крестьянскій юноша, страдающій юношескимъ сумасшествіемъ, *dementia praecox*, неудержимо болтаетъ; монологи его характеризуются также господствомъ простѣйшихъ словесныхъ ассоціацій: „Das ist der Droschkenkutscher Kleist, nee Kleistertopf oder auch von Kleistertopf...“ (Liebmann-Edel, 43). Пожилой купецъ, страдающій острымъ помѣшательствомъ, нанизываетъ слова по созвучію, но у него оказывается и нѣчто руководящее: всѣ слова должны соответствовать понятію *nicht dasselbe* (не то же самое) или *dasselbe* и вотъ онъ выкрикиваетъ: „wir haben keine Waben und kein Fressen, alles und alles ist dasselbe und wir haben die Elbe... 50 giebt es keine Elbe und Flbe und Elbe ist nicht an der Oder. Es giebt keine Frau, auch keine Sau, es, giebt auch keine Au. Wir sind keine Aester, wir sind keine Aster“ и т. д. (ibid. 25). При *dementia praecox* наблюдаются и фонетическія раз-

стройства рѣчи ¹⁾, которыя въ нормальномъ состояніи рѣчи только *намѣчаются*. Согласно Миньо, „разстройства рѣчи (les troubles arthrolaliques) въ dementia praecox весьма отличаются отъ разстройствъ при общемъ параличѣ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ артикуляція оказывается дефектной главнымъ образомъ вслѣдствіе безполезнаго удвоенія, переноса и измѣненія слоговъ, изъ которыхъ состоитъ слово, или вслѣдствіе дрожанія и разстройства координаціи мускуловъ рѣчи. Въ dementia praecox подобныхъ разстройствъ не замѣчается; артикуляція неудовлетворительна, какъ будто едва намѣчена; *движенія, необходимыя для произношенія, только начинаются, но не довершаются*; отъ этого получаютъ модификаціи, которыя превращаютъ артикуляцію просто въ безразличное и совершенно неразборчивое бормотаніе. У многихъ пораженныхъ dementia praecox артикуляція подобна патологическому письму, гдѣ написаніе сводится къ нѣсколькимъ черточкамъ, въ которыхъ нѣтъ возможности различить конструктивные элементы слова. Какъ въ первомъ, такъ и во второмъ случаяхъ мы видимъ попытку выразить мысль, но попытка оказывается безрезультатной вслѣдствіе недостаточности двигательной координаціи или отсутствія въ ней точности“. На этомъ мы и закончимъ обзоръ разстройствъ рѣчи у душевнобольныхъ.

ГЛАВА VI.

Формы внутренней рѣчи у глухонѣмыхъ и ихъ духовная жизнь.

Въ жизни нормальнаго человѣка внутренняя рѣчь принимаетъ, какъ мы уже видѣли выше, по большей части, форму словесныхъ, слуховыхъ и двигательныхъ образовъ. У глухонѣмого, который не научился говорить, объ эти формы отсутствуютъ: онъ не слышитъ никакихъ виѣшнихъ звуковъ и не произноситъ самъ никакихъ словъ. Онъ можетъ руководиться въ своей жизни только зрительными образами, приближаясь такимъ образомъ къ состоянію идиотизма, какъ духовной жизни безъ языка. Совершенно измѣняется картина, когда глухонѣмой приобрѣтаетъ способность говорить или писать. Тогда у него можетъ возникнуть двигательная или же зрительная (графическая, двигательно-графическая) внутренняя рѣчь, и духовная жизнь его сразу обогащается всѣми тѣми средствами отвлеченнаго мышленія, какими обладаютъ нормальные люди. И здѣсь мы прежде всего обратимся къ тѣмъ подчеркнутымъ болѣзнію явленіямъ, какія представляются галлюцинаціями различныхъ чувствъ. Одинъ душевно-больной, глухо-

¹⁾ Roger Mignot. Les troubles phonétiques dans la démence précoce. Annales Médico-psychologiques. 1907.

нѣмой съ дѣтства, страдалъ галлюцинаціями: ¹⁾ ему казалось, что кто-то кричить ему: *Kaiser er, Prinz er* (характерно здѣсь для глухонѣмого отсутствіе связки—*ist*, есть), и больной усматривалъ въ этихъ словахъ, которыя онъ, вѣроятно, не слышалъ, а воспроизводилъ съ помощью внутреннихъ моторныхъ представленій слова, оскорбленіе, причиняемое ему кѣмъ-то извнѣ. По этому поводу врачъ спросилъ его: „Вы думаете ртомъ?“ „Нѣтъ, не словами, а только знаками“. „Вы говорили раньше, что, когда слышите обращеніе къ вамъ *Prinz*, то происходитъ это черезъ мысли (*durch die Gedanken*); какъ же, въ такомъ случаѣ, совершаются самыя-то мысли: черезъ (*durch*) языкъ глухонѣмыхъ или черезъ устный языкъ?“—„Черезъ устный языкъ“.—„Когда вы обдумываете что-нибудь, вы дѣлаете это на языкѣ глухонѣмыхъ или на устномъ?“—„И то, и другое“.—„Когда вы слышите, что вамъ кричатъ *Prinz* или *Kaiser*, слышите-ли вы при этомъ звукъ?“—Нѣтъ. Только *воздухъ—воздушный потокъ*, значить волшебнымъ образомъ“.—„Когда вы видите сонъ, грезите-ли вы при этомъ о разговорѣ, и на какомъ языкѣ ведутся разговоры?“—„На обоихъ“ (т. е. и на языкѣ жестовъ, и на словесномъ моторномъ). Мы видимъ изъ этихъ показаній, что здѣсь произошла своего рода диссоціація: языкъ жестовъ больной считалъ своимъ, а позже изученный и болѣе сложный словесный какимъ-то чужимъ. Галлюцинаціи осложнялись еще своеобразнымъ бредомъ: больному казалось, что на языкѣ жестовъ говорили вокругъ него другіе больные, обладавшіе способностью говорить, не глухонѣмые. Такимъ образомъ, галлюцинаціи приняли и двигательную форму, указывавшую на тѣсную связь, которая установилась у этого больного между языкомъ жестовъ и языкомъ словъ. Въ томъ же родѣ заявленіе одного глухонѣмого: „Я чувствую при мышленіи, что пальцы движутся, хотя они лежатъ спокойно. Я вижу внутреннюю картину, которая получается движеніемъ пальцевъ“ (Г. Идельсонъ. Неврологич. Вѣстн., V, вып. 1, стр. 63). Отсюда видно, что моторный характеръ внутренней рѣчи выступаетъ чрезвычайно отчетливо у глухонѣмыхъ. Еще интереснѣе дѣлается постановка основного вопроса психологій языка, вопроса объ отношеніи между словомъ и мыслью, въ тѣхъ случаяхъ, когда къ глухонѣмотѣ присоединяется слѣпота, когда, такимъ образомъ, связь человѣка съ внѣшнимъ міромъ поддерживается лишь съ помощью такихъ чувствъ, какъ осязаніе и обоняніе, причѣмъ послѣднее въ нашей нормальной жизни почти лишено познавательнаго элемента. Къ сожалѣнію, какъ ни важны для психологій вопросы, связанные съ душевной жизнью глухонѣмыхъ, они изучены съ этой психологической точки зрѣнія, насколько мнѣ извѣстно, мало. Среди массы работъ, посвященныхъ этому вопросу, психологическія затериваются. Въ популярныхъ книгахъ (даже, напр., въ извѣстной книгѣ

¹⁾ Dr. A. Kramer. Ueber Sinnestäuschungen bei geistenkranke Taubstummen. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten. B. 28. 1896.

г-жи Рагозиной объ Эленѣ Келерѣ) выдвигается на первый планъ стремленіе расположить общество въ пользу несчастныхъ глухонѣмыхъ или доказать, что на нихъ нельзя смотрѣть, какъ на ненормальныхъ, слабоумныхъ людей. Поэтому, здѣсь подчеркивается слишкомъ сильно способность людей, глухонѣмыхъ отъ рожденія, къ развитому мышленію. Чисто медицинскія изслѣдованія выдвигаютъ вопросы, не имѣющіе спеціальнаго отношенія къ психологіи глухонѣмоты (напр. *Wagner. Untersuchungen von Taubstummen. 1899*, объ остаткахъ слуха у глухонѣмыхъ), или разрабатываютъ методы ихъ наилучшаго обученія (напр., обширная монографія Вальтера „*Handbuch der Taubstummenbildung*“. 1895). Тѣмъ не менѣе, въ этой литературѣ мы встрѣчаемъ весьма цѣнные указанія на душевную жизнь глухонѣмыхъ. Поскольку эта жизнь регулируется только зрительными и осязательными образами, она не является способной къ созданію отвлеченнаго мышленія.

Какъ уже было отмѣчено выше, это, скорѣе, интеллектуальная жизнь высшаго животнаго. Уже натуралистъ 18 вѣка, Шарль Бонне, утверждалъ ¹⁾, —являясь въ этомъ отношеніи основателемъ современнаго научнаго міровоззрѣнія,—что „животныя имѣютъ и могутъ имѣть только частныя и чисто чувственныя (*purement sensibles*) идеи. Для нихъ оказывается невозможнымъ возвыситься до нашихъ общихъ идей; происходитъ это вслѣдствіе того, что они не одарены словомъ. Они совершенно не обобщаютъ своихъ идей; они не образуютъ умственныхъ абстракцій (*des abstractions intellectuelles*). Субъектъ сливается для нихъ со своими атрибутами, или, вѣрнѣе, не является для нихъ ни субъектомъ, ни атрибутомъ. Вещи познаются ими только въ формѣ нѣсколькихъ чувственныхъ качествъ. Всѣ ихъ сравненія, всѣ ихъ сужденія основываются непосредственно на этихъ качествахъ. Такимъ образомъ, выражаясь точно, животныя не размышляютъ: они не имѣютъ нашихъ посредствующихъ идей, потому что они не обладаютъ нашими знаками. Когда же имъ приходится рассуждать, они ограничиваются тѣмъ, что сравниваютъ или вспоминаютъ извѣстныя чувственныя идеи, изъ которыхъ вытекаетъ то или другое движеніе, то или другое дѣйствіе. Чѣмъ многочисленнѣе становятся эти сравненныя или запомнившіяся идеи, чѣмъ разнообразнѣе онѣ, тѣмъ болѣе кажется, что животныя размышляютъ. Между тѣмъ, это все-таки лишь кажущееся размышленіе“. Современная наука, какъ мы уже видѣли въ первой главѣ, принципиально стоитъ на той же точкѣ зрѣнія. Вопросъ о томъ, можно-ли видѣть въ такихъ актахъ сравненія и запоминанія процессъ *отвлеченія*, мнѣ представляется споромъ о словахъ. Ассоціаціи по сходству, которыя заставляютъ животныхъ реагировать одинаковымъ

¹⁾ *Charles Bonnet. Contemplation de la nature. 1764, цит. у Ed. Claparède. La Psychologie animale de Charles Bonnet. 1909, стр. 70—71.*

образомъ на „цѣлый классъ аналогичныхъ объектовъ“¹⁾, не требуютъ для своего проявленія разумной дѣятельности сознательнаго сравненія. Если это и абстракція, то даже защитники ея (какъ напр., нѣмецкій ученый Цуръ Штрассенъ) отказываются видѣть здѣсь „психическій процессъ“ и настаиваютъ на механическомъ характерѣ ея. По существу же, это именно ассоціація между извѣстнымъ зрительнымъ или инымъ образомъ, не достаточно отчетливымъ, и потому сливающимся съ другими подобными, и между возбужденіемъ, вызывающимъ опредѣленную реакцію. Въ этомъ образѣ, который играетъ роль побудительной причины, детали не настолько ярки, чтобы сходные образы, также со своими „прибавочными деталями“ (*des détails accessoires*), не могли съ нимъ слиться и получить въ духовной жизни животнаго то же значеніе возбудителя. Но при отчетливости воспріятія „детали“ могутъ пріобрѣсти настолько доминирующій характеръ, что и сходные образы не приведутъ къ одинаковымъ послѣдствіямъ. Собака, принявшая по одеждѣ чужого человѣка за своего хозяина, при большей отчетливости воспріятія отдѣляетъ черты сродства (одежду, ростъ и др.) отъ образа, который теперь ей уже не кажется сходнымъ, и реагируетъ на него иначе, чѣмъ прежде.

Однако, было бы неправильно видѣть въ поведеніи животнаго сознательное отношеніе къ своимъ представленіямъ: это просто смѣна образовъ, изъ которыхъ каждый вызываетъ отдѣльную реакцію. „Механизмъ явленія“ у животнаго и человѣка тождественъ, но различіе въ его конечныхъ результатахъ значительно. „Высшая память, говоритъ авторъ спеціальной монографіи объ эволюціи памяти²⁾, заключается въ томъ, что воспоминанія, разсматриваемыя каждое въ отдѣльности, сохраняютъ свою живость, которая ослабѣваетъ лишь постепенно, а также и особенно въ томъ, что они соединяются между собою чрезвычайно многочисленными цѣпами, которыя тѣмъ болѣе крѣпки, чѣмъ полезнѣе оказывается вызываніе однихъ звеньевъ другими; въ прогрессѣ человѣческой памяти, по сравненію съ памятью всѣхъ другихъ животныхъ, въ этомъ прогрессѣ, который создаетъ возрастающую индивидуализацію воспоминаній и ослабленіе ихъ ассоціативныхъ узъ вслѣдствіе непрерывнаго возрастанія ихъ множественности, особенно важнымъ представляется именно это умноженіе цѣпей, которыя соединяютъ всѣ воспоминанія въ одну связную ткань“. Этотъ процессъ, какъ мы можемъ судить по многочисленности и крѣпости чисто словесныхъ ассоціацій, происходитъ уже на почвѣ развитія языка, такъ что состояніямъ до языка или состояніямъ безъ языка онъ не можетъ быть приписанъ. Тамъ передъ нами сравнительная незначительность этихъ ассоціативныхъ цѣпей и скудость ихъ звеньевъ; тамъ ассоціаціи имѣютъ исключительно

1) G. Bohn. La naissance de l'intelligence. Paris. 1910, стр. 261.

2) H. Piéron. L'évolution de la Mémoire. Paris. 1910, стр. 289.

конкретный характеръ, здѣсь, въ состояніяхъ душевной жизни, одаренной языкомъ, мысль развивается съ помощью ассоціацій отвлеченныхъ, словесныхъ, и цѣпи ихъ чрезвычайно многочисленны и сложны. Но, разумѣется, основной законъ ассоціаціи — „освобожденіе воспроизведенныхъ представлений въ случаѣ простого сходства исходныхъ членовъ или подстановки сходныхъ исходныхъ членовъ“ (Эббингаузъ. Основы психологіи, гл. II. 186)—долженъ быть признанъ первичнымъ и общимъ какъ для животныхъ, такъ и для человѣка. И здѣсь сходство далеко отъ тождества: большій или меньшій размѣръ буквъ не внушаетъ намъ сомнѣній относительно значенія ихъ, подъ краснымъ цвѣтомъ мы объединяемъ множество разнообразныхъ оттѣнковъ и т. д.

Возвращаясь послѣ этого экскурса къ психологіи глухонѣмыхъ, слѣдуетъ отмѣтить прежде всего, что умственный уровень этихъ послѣднихъ ниже нормальнаго. Специалисты ¹⁾ рѣшительно отрицаютъ, чтобы глухонѣмые вообще могли достигнуть высокой степени умственного развитія, особенно же глухонѣмые слѣпые. Русскій изслѣдователь, д-ръ А. В. Владиміръскій („Характерныя особенности реакціи сосредоточенія въ умственной работѣ у глухонѣмыхъ“ 1908), представилъ чрезвычайно интересныя данныя для характеристики умственной отсталости у глухонѣмыхъ дѣтей. Такъ, онъ полагаетъ, что способность сосредоточиваться при выполненіи умственной работы у глухонѣмыхъ оказывается значительно пониженной въ сравненіи съ нормальными людьми. вмѣстѣ съ тѣмъ у нихъ наблюдается отсталость какъ въ быстротѣ ея совершенія, такъ и въ точности выполненія. При этомъ онъ дѣлаетъ важное наблюденіе, что какъ и у нормальныхъ людей, у глухонѣмыхъ умственные способности возрастаютъ по мѣрѣ лѣтъ, когда укрѣпляется вниманіе, и усиливается тщательность труда; глухонѣмые оказываются способными къ дальнѣйшему развитію, и пропасть въ этомъ отношеніи между ними и слышащими людьми уменьшается. Стало быть, то обученіе, которое имъ дается, содѣйствуетъ ихъ умственному развитію. Именно, у глухонѣмыхъ возникаетъ внутренняя рѣчь, которая вводитъ ихъ въ сообщеніе съ внѣшнимъ міромъ, раскрывая передъ ними богатства письменнаго языка, остающагося главнымъ средствомъ познанія міра для грамотныхъ глухонѣмыхъ. Но все-таки та степень сосредоточенія вниманія, которая не представляетъ исключительнаго явленія у нормальныхъ людей, оказывается почти недоступна глухонѣмымъ. Эти послѣдніе „при всѣхъ равныхъ прочихъ условіяхъ, по существу своей природы, поставленные рядомъ со слышащими, обладаютъ болѣе неустойчивой степенью реакціи сосредоточенія, чѣмъ послѣдніе; если, предположимъ, глухонѣмой сегодня проявилъ

¹⁾ Эд. Вальтеръ въ названной выше книгѣ, Руд. Бромеръ въ книгѣ „Wie soll man über Hellen Keller denken“, американскіе врачи, составившіе коллективный трудъ „The blind-deaf. A monograph, being a Reprint of the Deaf Blind, with Revision and additions by William Wade. 1904 и др.

во время умственной работы известную степень реакціи сосредоточенія, то больше въроятій, чѣмъ у слышащихъ, что въ слѣдующій разъ онъ уклонится въ ту или другую сторону“. Но вотъ чрезвычайно любопытное наблюденіе д-ра Владимірскаго, которое бросаетъ свѣтъ на развитіе зрительной памяти у глухонѣмыхъ. Руководясь въ своемъ познаніи вѣдѣнаго міра по преимуществу зрѣніемъ, они должны обладать способностью къ рисованію соотвѣтственно въ большей степени, чѣмъ слышащіе люди, которые узнаютъ многое другъ отъ друга, по слуху, съ помощью словъ, уже лишенныхъ образнаго значенія. На эту сторону душевной жизни глухонѣмыхъ слѣдуетъ обратить тѣмъ большее вниманіе, что она переноситъ насъ въ эпоху, когда, вообще, слово не приобрѣло еще крупнаго значенія въ соціальной и личной жизни человѣка. Если до известной степени слабоумный представляетъ ту эпоху въ развитіи человѣчества, когда это послѣднее едва вышло изъ стадіи чисто животнаго существованія, то глухонѣмой, скорѣе, соотвѣтствовалъ бы той ступени, на которой человѣкъ, уже сознавъ важность слова, еще не достаточно овладѣлъ этимъ орудіемъ, и еще жилъ больше „по старинѣ“, руководясь преимущественно зрительными образами. Разумѣется, что и въ эту аналогію слѣдуетъ внести известныя поправки: глухонѣмой уже долженъ научиться говорить или читать, а дикарь не меньше, чѣмъ зрѣніемъ, руководится своимъ слухомъ. Тѣмъ не менѣе, по существу аналогія сохраняетъ свое значеніе: и здѣсь, и тамъ слово еще не вытѣснило иныхъ формъ мышленія, и „созерцаніе“ играетъ доминирующую роль въ интеллектуальной жизни. „Нужно отмѣтить, пишетъ д-ръ Владимірскій (стр. 42), что вообще рисунки глухонѣмыхъ, которые собрали мы у нихъ, несравненно превосходятъ тѣ, которые съ цѣлью сравненія мы получили отъ слышащихъ. Насколько бѣдны и безпомощны оказались они въ письменномъ изложеніи, напр., понятія *лѣсъ*, настолько цвѣтисты и богаты ассоціаціями явились они въ своихъ рисункахъ на ту же тему“. Дѣйствительно, приведенные образчики словесныхъ описаній указываютъ на то, что изображеніе словами не удается даже тѣмъ глухонѣмымъ мальчикамъ, у которыхъ съ названіемъ предмета связаны весьма живыя представленія. Такъ, описывая прогулку въ *лѣсъ*, одинъ изъ наиболѣе способныхъ мальчиковъ, составлявшихъ предметъ наблюденій д-ра Владимірскаго, создалъ слѣдующій шедевръ: „Я пошелъ въ *лѣсъ*, чтобы рвать грибы, небо покрылось тучами, *громъ*, засверкала молнія, потомъ сильно пошелъ дождь. Я испугался и упалъ подъ дубомъ, шишка мнѣ ударила голову; мнѣ сдѣлалось немного больно, безъ чувствъ; птицы *пѣли*, свѣтало, я оглянулся и прибѣжалъ домой“. Въ этомъ описаніи, гдѣ столько едва намѣченныхъ словомъ переживаній, бросаются въ глаза указанія на *громъ* и на *птичье пѣніе*, которыхъ глухонѣмой не слышалъ. Для него это были отвлеченныя *понятія*, возникшія на почвѣ приобретенныхъ словесныхъ образовъ. Это

были *символы*, наличность которыхъ, несомнѣнно, обогащала сознание мальчика, какъ пріобрѣтеніе и другихъ символическихъ представленій является расширеніемъ нашего міровоззрѣнія. Конечно, съ этими символами у него связывались иные образы, чѣмъ у человѣка, дѣйствительно слышавшаго громъ или птичье пѣніе, но, во всякомъ случаѣ, *свои* образы и настроенія у него соединялись и съ этими словами. Такъ, одинъ глухонѣмой въ сборникѣ стихотвореній („*Poésies d'un sourd—muet*“. Paris. 1844), написанныхъ красивыми и изящными стихами, воспѣвая красавицу, восклицаетъ: „*j'aime ta voix touchante*“. *Знаніе*, что въ поэтическую ночь поютъ соловьи, придаетъ его настроеніямъ тотъ лирическій оттѣнокъ, который прекрасно выраженъ въ небольшомъ стихотвореніи „*Mes regrets*“ („Мои жалобы“), достойнымъ того, чтобы привести его здѣсь цѣликомъ:

Ainsi, pauvre muet, pendant les belles nuits,
Quand sur l'urne des fleurs s'endorment tous les bruits,
Je prête envain l'oreille au rossignol qui chante!
Et, quand j'essaie un luth pour bercer mon chagrin,
Mes sons ne volent pas au delà de mon sein!
Nul écho ne répond à ma voix impuissante! ¹⁾

Такимъ образомъ, пріобрѣтеніе способности мыслить словами, особенно, написанными, вносить въ душевную жизнь глухонѣмого тотъ элементъ отвлеченнаго мышленія, котораго она лишена была раньше. Одинъ изъ такихъ глухонѣмыхъ, анализируя свое душевное состояніе передъ поступленіемъ въ школу, говоритъ слѣдующее: „Пока я не поступилъ въ школу, я думалъ картинами и знаками (*I thought in pictures and signs*). Картины не были точны въ подробностяхъ, но имѣли общій характеръ. Онѣ проносились моментально передъ моими умственными глазами“. При этомъ, уже тогда нѣкоторые признаки предметовъ настолько запечатлѣлись въ его сознаніи, что создалось какъ бы отвлеченіе ихъ, весьма рудиментарное и, повидимому, доступное и для высшихъ животныхъ, собаки, обезьяны, лошади. Такъ, по *борода* онъ узнавалъ мужчину, по *грудь* женщину, и когда онъ думалъ о мужчинѣ, ему представлялось *нѣчто бордато*е и т. п. Другіе признаки, *зрительные символы* мыслимыхъ предметовъ оказывались болѣе сложными: рука, высоко поднятая и какъ будто бы дергающая веревку колокола, означала *воскресенье*, двѣ руки, раскрытыя передъ глазами и державшія какъ будто что-то, имѣли значеніе *бумаги* или *книги* и т. п. Къ сожалѣнію, по этимъ даннымъ трудно

¹⁾ „Итакъ, бѣдный нѣмой, въ прекрасныя ночи, когда надъ урной цвѣтовъ засыпаютъ всѣ *шумы*, тщетно я подставляю ухо *полющему соловью*. А когда я пытаюсь утишить свою скорбь звуками лютни, звуки мои не вылетаютъ за предѣлы моей груди. Ни одно эхо не отвѣчаетъ моему безсильному голосу“.

добраться до истиннаго психологическаго характера этихъ зрительныхъ символовъ и до способа ихъ возникновенія въ сознаниі глухонѣмого, но изъ его показаній вытекаетъ съ полной очевидностью, что до возникновенія словесныхъ представленій его мысль имѣла зрительную форму¹⁾. Я закончу изложеніе этой формы мышленія у разсматриваемаго типа правильнымъ, по моему мнѣнію, заключеніемъ одного изъ изслѣдователей глухонѣмоты: „Вниманіе глухонѣмого привлекають видимыя явленія, и зрительныя впечатлѣнія вызываютъ у него зрительные рефлексъ (образы); именно, эти послѣдніе становятся для него названіями вещей“ (т. е. зрительными символами)²⁾.

Таково состояніе глухонѣмого до обученія его. Кромѣ зрительныхъ и осязательныхъ образовъ, въ его душевной жизни необходимо признать извѣстное значеніе и за моторными представленіями жестовъ, которыми глухонѣмые объясняются между собой и съ нормальными людьми, и изъ которыхъ нѣкоторые восходятъ, по всей вѣроятности, еще къ дочеловѣческому существованію людей, являясь пережиткомъ древнѣйшихъ временъ существованія человѣчества. Въ виду важности этого вопроса я посвящу ему въ дальнѣйшемъ изложеніи отдѣльную главу; здѣсь же остановлюсь на томъ фактѣ, что и въ жизни очень интеллигентныхъ глухонѣмыхъ, много читающихъ и въ отличіе отъ большинства ихъ прекрасно пишущихъ, языкъ жестовъ, превращаясь въ извѣстнаго рода „внутреннюю рѣчь жестовъ“, сохраняетъ особенное значеніе, прямо непонятное нормальнымъ людямъ. Одна изъ такихъ глухонѣмыхъ, окончившая за границей спеціальное учебное заведеніе и вполнѣ усвоившая способность читать и писать, а также произносить (не отчетливо для непривычнаго слушателя) слова, любезно сообщила мнѣ о себѣ слѣдующія свѣдѣнія: „Большею частью, когда мы думаемъ о чемъ-нибудь, мы представляемъ себя какъ будто говорящими при помощи рукъ, мимикой, хотя сами, конечно, остаемся въ покоѣ. Напримѣръ, я думаю о томъ, что такой-то поступилъ нехорошо; я *представляю* при этомъ такой жестъ, какой имѣлъ бы мѣсто, если бы разговаривала съ кѣмъ-нибудь; иногда при этой мысли укоризненно покачиваешь головой или мѣняешь выраженіе лица (это является какъ бы вспомогательной мимикой при нашихъ разговорахъ). Когда я еще не знала *мимики* и пальцевой азбуки, то не могла мыслить въ такой формѣ, а мыслила скорѣе въ формѣ представленія образовъ. Напр., въ дѣтствѣ мнѣ приходилось много терпѣть отъ какого-нибудь опредѣленнаго человѣка, близкаго мнѣ, и я его очень не любила. Въ какомъ-нибудь другомъ мѣстѣ я встрѣчаю чѣловѣка, похожаго по внѣшности на перваго, или человѣка, обидѣвшаго меня; я сразу чувствую къ нему антипатію, представляя себѣ

¹⁾ James Kerr Love. Deaf Mutism. 1896, стр. 263.

²⁾ Heidsick. Der Taubstumme und seine Sprache. 1889.

того, перваго; позднѣе, когда я поняла значеніе словъ *злой* или *хорошій*, и знала соотвѣтствующій имъ жестъ, я и думала иначе. Но и теперь, когда я думаю, напр., объ авіаторѣ, то, вѣроятно, какъ и вы, представляю себѣ видѣнную картину и т. п. Не всегда мы думаемъ, какъ я писала вначалѣ, мимикой; въ томъ случаѣ, когда не думаешь о чемъ-нибудь сложномъ или же хочешь приучить себя къ правильному построенію фразы, то *представляешь себя какъ будто говорящей* по пальцамъ. Вы знаете разницу между мимикой и пальцевой азбукой? Въ послѣдней различныя комбинаціи изъ пяти пальцевъ соотвѣтствуютъ каждой буквѣ нашей русской азбуки; мимическіе же жесты иногда соотвѣтствуютъ цѣлой фразѣ. Напр., для того, чтобы сказать: „я хочу уходить“, требуется опредѣленный жестъ, занимающій одинъ моментъ по времени. *Потому и мыслить легче въ мимической формѣ*. Относительно сновидѣній много сказать нельзя; они нисколько не отличаются по своему происхожденію отъ вапихъ, т. е. являются результатомъ продуманнаго или пережитаго за день и т. п. Въ нихъ я веду себя такъ же, какъ и въ жизни, и иногда только приходится удивляться тому, что люди, завѣдомо не умѣющіе изъясняться ни мимикой, ни пальцами, *вдругъ во снѣ свободно со мной разговариваютъ*“.

Это письмо замѣчательно уже уровнемъ своего изложенія, показывающимъ, какой свободы въ передачѣ своихъ мыслей могутъ достигать образованные глухонѣмые. Между тѣмъ примѣры письма глухонѣмыхъ, приведенные въ цитированной выше книгѣ д-ра Владимірскаго, въ статьѣ Бине и Симонъ: „Рѣчь у глухонѣмыхъ“¹⁾ (*La parole aux sourds-muets*) и т. п., указываютъ на весьма ограниченную способность глухонѣмыхъ писать правильно. Какъ видимъ, однако, высокій уровень интеллектуальнаго развитія позволяетъ достигнуть значительнаго совершенства въ этомъ отношеніи. Тѣмъ не менѣе, въ умственной жизни и г-жи Р. В. преобладаютъ моторныя представленія не словъ, но жестовъ, что, несомнѣнно, придаетъ ей извѣстный конкретный характеръ. „У глухонѣмыхъ замѣчается постоянная естественная тенденція прибѣгать къ жестикуляціи; очень—очень рѣдко встрѣчаются такіе, которые не пользуются жестами; они прибѣгаютъ къ нимъ въ семьѣ; а особенно, когда они встрѣчаютъ другихъ глухонѣмыхъ, они *не говорятъ никогда*, но жестикулируютъ“. Вслѣдствіе этого „языкъ“ глухонѣмыхъ, т. е. ихъ внутренняя моторно-жестикулятивная рѣчь, должна быть очень бѣдна отгѣнками. Если мгновеннымъ жестомъ передается фраза: „я хочу уйти“, то всѣ отгѣнки настроенія, которые передаются удареніемъ и интонаціей, исчезаютъ здѣсь. Еще болѣе бываетъ поражено отвлеченное мышленіе. Въ письмѣ г-жи Р. В. встрѣ-

¹⁾ Étude sur l'art d'enseigner la parole aux sourds-muets. L'Année psych. 1909.

чается характерное для глухонѣмыхъ дѣленіе на *хорошихъ* и *злыхъ*. При мысли о „зломъ“ появляется еще и мимика, выраженіе порицанія, или презрѣнія. Между тѣмъ еще сколько другихъ оттѣнковъ можетъ быть вложено въ сужденіе о добрѣ и злѣ. „Отецъ одного глухонѣмого, замѣчаютъ Бине и Симонъ, обратилъ наше вниманіе на то, что его сынъ обладаетъ очень упрощенными представленіями (*des idées très simplistes*), въ политикѣ всѣ люди бываютъ у него или совсѣмъ хорошими, или совсѣмъ дурными“. Это замѣчаніе, которое, вѣроятно, пришлось бы распространить на широкую область міровоззрѣнія всякаго глухонѣмого, указываетъ на неизбѣжную бѣдность отвлеченной мысли у людей, лишенныхъ отчасти словесной внутренней рѣчи или недостаточно развившихъ ее. Повидимому, въ исключительныхъ случаяхъ, при выдающейся силѣ воли, и глухонѣмой можетъ выработать у себя двигательную внутреннюю рѣчь. Указанія на это мы встрѣчаемъ и у г-жи Р. В.

Однако, самыя слова, которыя произносятъ глухонѣмые, представляютъ нѣчто непонятное для непривычныхъ слушателей. Это едва намѣченная и спутанная артикуляція. Въ большинствѣ случаевъ у глухонѣмыхъ весьма слабы и зрительныя представленія о произношеніи звуковъ; ошибки въ чтеніи по губамъ—оказываются обынѣйшимъ явленіемъ, вытекающимъ именно изъ этой недостаточности зрительныхъ образовъ слова. Такимъ образомъ, не устная, но письменная рѣчь является для нихъ главнымъ способомъ сообщенія съ людьми, не обучившимися языку жестовъ. Но наиболѣе легкимъ и обычнымъ способомъ остается этотъ послѣдній. Глухонѣмой оказывается, такимъ образомъ, по преимуществу конкретнымъ мыслителемъ. Въ противоположность этому, слѣпой имѣетъ склонность къ мышленію безъ образовъ; всякое слово, за исключеніемъ развѣ названій предметовъ, съ которыми легко связываются осязательные образы (мыло, ножъ и, вѣроятно, другіе, въ большемъ числѣ, чѣмъ у зрячихъ людей), всякое слово является для слѣпого прежде всего звуковымъ образомъ. Слова *зеленый*, *яркій* и т. п. имѣютъ для слѣпого такой же отвлеченный характеръ, какъ и слова *вѣчность*, *истина* и т. дал. Слѣпой руководится прежде всего и больше всего слуховыми представленіями. „Сначала душевная жизнь слѣпыхъ руководится въ гораздо большей степени слухомъ, чѣмъ осязаніемъ. Справедливость этого утвержденія въ достаточной мѣрѣ поддерживается довольно обынѣмъ наблюденіемъ, что слѣпыя дѣти въ началѣ своего обученія обнаруживаютъ полное отсутствіе развитія осязанія и не разбираются въ окружающихъ ихъ предметахъ, пока эти послѣдніе не начинаютъ располагаться по характернымъ для нихъ тонамъ и шумамъ... Тотъ безспорный фактъ, что большая часть слѣпыхъ не оріентируется въ практической жизни, что они должны быть всегда и вездѣ предоставлены опека зрячихъ, восходитъ, безспорно, отчасти и къ этому преимущественному предпочтенію чувства слуха и неспособности понимать пространственныя отно-

шенія вѣшняго міра“ ¹⁾. Осязаніе, какъ источникъ познанія этого вѣшняго міра, заключаетъ въ себѣ уже то неудобство, что требуетъ со стороны наблюдателя движенія. „При неизмѣнномъ состояніи наблюдателя, измѣреніе предмета во всѣхъ направленіяхъ возможно только при особенномъ подборѣ объектов“. (Heller. 53). При этомъ съ помощью такого ощупыванія познается лишь одинъ предметъ. „Нахожденіе всѣхъ объектовъ въ болѣе значительномъ помѣщеніи является совершенно невозможнымъ при первомъ движеніи оріентаціи. Всякое слѣдующее развѣдочное путешествіе приноситъ слѣпому представленіе о новыхъ предметахъ, и такимъ уже образомъ возникаетъ необходимость расположить опредѣленные пространственныя отношенія по извѣстному, впервые установленному плану, вслѣдствіе чего передъ дѣятельностью разума и воображенія слѣпого встаетъ новая сложная задача“ (Heller. 103). Такимъ образомъ, та работа, которую зрячій совершаетъ, окинувъ взоромъ комнату, продѣлывается слѣпымъ съ помощью мышленія. Порядокъ расположенія предметовъ въ комнатѣ является для него конструированнымъ отвлеченнымъ понятіемъ, которому могутъ соответствовать, вѣроятно, только извѣстныя осязательныя представленія. При этомъ, однако, замѣчаетъ Хеллеръ, „удержать въ памяти расположеніе предметовъ, которые занимаютъ обширное пространство, представляется для слѣпого столь труднымъ, что нерѣдко при измѣреніи разстояній онъ ограничивается только установленіемъ числа шаговъ, которое необходимо для прохожденія извѣстнаго разстоянія“ ²⁾. Чрезвычайно важное замѣчаніе, которое указываетъ, какую роль въ безобразномъ мышленіи (какимъ является, по преимуществу мышленіе слѣпого) играютъ числовыя отношенія. И зрячій долженъ былъ отказаться отъ образа для того, чтобы мыслить о числѣ. Для слѣпого же число и пространство—слова, которыя соответствуютъ немногимъ типическимъ представленіямъ осязательнаго происхожденія. Звуковые образы, какъ уже упомянуто, доминируютъ въ душевной жизни слѣпого. „Цѣлый рядъ очень музыкальных слѣпыхъ, говоритъ Геллеръ, утверждаетъ, что ихъ представленія о вѣшнемъ мірѣ являются просто слуховыми представленіями. Съ названіями вещей они не связываютъ, по ихъ словамъ, никакихъ пространственныхъ образовъ, но только звуки и шумы, которые особенно характерны для соответствующихъ объектовъ. Когда слѣпой говоритъ о какомъ нибудь лицѣ,

¹⁾ Th. Heller. Studien zur Blindenpsychologie. 1904, стр. 11—12.

²⁾ Въ полномъ согласіи съ вышеизложеннымъ стоятъ изслѣдованія А. А. Крогуса о пространственныхъ представленіяхъ у слѣпыхъ. По его мнѣнію, они имѣютъ „несравненно болѣе отвлеченный характеръ, чѣмъ тѣ же представленія зрячихъ... Знаніе пространственныхъ отношеній является у слѣпого не столько продуктомъ непосредственнаго чувственнаго возрѣнія, сколько результатомъ сравненія и взаимоотношенія, анализа и синтеза“. („Процессы воспріятія у слѣпыхъ“. 1909, стр. 219).

то онъ мыслить при этомъ объ его голосѣ, а иногда также о своеобразномъ шумѣ его шаговъ. Подобнымъ образомъ, представленія о звѣряхъ зиждутся на улавливаніи ихъ голосовъ, которые *воспроизводятся нѣкоторыми слѣпыми очень живо*. Въ этихъ случаяхъ слѣпой, очевидно, оказывается не въ состояніи схватывать съ помощью осязанія тѣ различія въ формѣ и величинѣ, которыя представляютъ для зрячихъ отличительные признаки предметовъ“. Такъ звукъ, издаваемый животнымъ или предметомъ, ассоціируется съ представленіемъ о немъ, становится какъ бы названіемъ его.

Сами слѣпые даютъ цѣнные показанія, свидѣтельствующія о громадномъ значеніи слуховыхъ воспріятій для познанія внѣшняго ¹⁾ міра. „Существуетъ особый языкъ для слуха, языкъ, выраженія котораго, правда, нѣсколько неопредѣленные, передаютъ, тѣмъ не менѣе, всѣ *оттѣнки чувства и главныя движенія мысли*. Слѣпые способны достигнуть самаго полнаго пониманія этого языка, и овладѣть имъ съ такимъ совершенствомъ, какого рѣдко достигаютъ они въ управленіи словомъ“. Эти слова принадлежатъ Дюфо, автору изслѣдованія объ интеллектуальномъ уровнѣ слѣпыхъ, которое появилось въ 1837 г. Въ нихъ прекрасно отмѣчена разница въ познаніи внѣшняго міра съ помощью различныхъ органовъ чувствъ: несомнѣнно, что для познанія *чувствъ* другихъ людей мы руководствуемся по преимуществу—слухомъ, для познанія предметовъ—зрѣніемъ. Этотъ выводъ имѣетъ прямое отношеніе къ вопросу о различности словъ языка, и потому на относящихся сюда данныхъ я остановлюсь нѣсколько подробнѣе. Пристрастіе къ ритму у идіотовъ и слабоумныхъ было отмѣчено выше. Эта, глубоко заложенная въ натурѣ человѣка страсть достигаетъ особаго развитія у существъ, которыя вынуждены въ своей душевной жизни руководиться, по большей части, слуховыми образами. „Таковъ источникъ интереса и способностей слѣпыхъ къ музыкѣ, говоритъ Дюфо. Ясно, что въ этой области у нихъ нѣтъ на пути никакихъ неодолимыхъ препятствій; напротивъ того, для этого занятія они располагаютъ органомъ, достигшимъ, благодаря постоянному упражненію, высокой степени совершенства... Достаточно посмотрѣть, съ какимъ усердіемъ слѣпорожденный ребенокъ, только что выросшій изъ пеленокъ, *ищетъ ритма и интонации* на первомъ инструментѣ, который попадаетъ ему подъ руку. Этимъ же *предрасположеніемъ* къ музыкальной гармоніи нужно объяснить также и интересъ, проявляемый слѣпыми къ стихамъ, и способность ихъ писать стихи, несмотря на то, что они не поэты. Гармоническое сочетаніе звуковъ въ стихахъ очаровываетъ слухъ, а *ритмическій размѣръ удовлетворяетъ, до известной степени, одну изъ самыхъ глубокихъ*

¹⁾ Нижеслѣдующія данныя почерпнуты изъ интереснаго труда А. А. Крогиуса „Процессы воспріятія у слѣпыхъ“, 1909. Къ сожалѣнію, продолженіе этого труда еще не появилось.

потребностей их природы". Такое тонкое развитіе слуха, которое досталось слѣпымъ въ наслѣдіе отъ отдаленныхъ предковъ нашей расы, принужденныхъ жить въ условіяхъ, когда опасность или требованія само-сохраненія заставляли ихъ прислушиваться ко всякимъ звукамъ,—создаетъ особый „слуховой пейзажъ". Объ этомъ послѣднемъ даетъ намъ представленіе слѣдующій рассказъ одного изъ слѣпыхъ, извѣстнаго писателя Де-Ля-Сизерана (*Maurice de la Sizeranne. Les soeurs aveugles. 1901, цит. по Кропичу*): „Людамъ хорошо извѣстны всѣ великіе голоса природы, вой бури въ лѣсу или на морѣ, раскаты грома въ горахъ, шумъ потока или водопада. Но обыкновенно не слушаютъ, не обращаютъ вниманія на цѣлую массу чуть замѣтныхъ, легкихъ и нѣжныхъ звуковъ, которые природа расточаетъ въ изобиліи: шорохъ, треніе насѣкомыхъ въ травѣ, стрекотаніе вечернихъ кузнечиковъ, удары крыльями птицъ, ропотъ тонкаго, какъ ниточка, ручейка, шумъ легкаго вѣтра, волнующаго только нѣсколько листьевъ. Вѣтеръ не только оживляетъ зрительный пейзажъ: онъ вноситъ движеніе и жизнь также и въ тотъ пейзажъ, который я назвалъ бы слуховымъ. Благодаря ему, оживаютъ для уха деревья—*каждое получаетъ звукъ, соответствующій своей природѣ*,—каждое окрашивается, такъ сказать, въ присущій ему слуховой колоритъ". То же и въ городѣ. „Каждый домъ даетъ массу своеобразныхъ шумовъ. Шумъ дверей, оконъ видоизмѣняется до безконечности. Большая или меньшая звучность шаговъ, та или иная гулкость комнаты, лѣстницы, корридора, вся совокупность вышнихъ шумовъ, воспринимаемыхъ въ той или иной комнатѣ, въ тотъ или иной часъ, въ то или иное время года, звуки колокольчика, разнообразныя удары башенныхъ и стѣнныхъ часовъ, звуки плотничьихъ или слесарныхъ инструментовъ, грохотъ поѣзда, звонки конки, крикъ уличныхъ мальчишекъ—все это создаетъ особую обстановку". Минувъ цѣлый рядъ чрезвычайно интересныхъ показаній слѣпыхъ, я приведу только свидѣтельства, относящіеся къ познанію *эмоціональной стороны* окружающей человѣческой среды съ помощью слуха. „Я полагаю, что душа человека открыта для насъ больше, чѣмъ для зрячихъ, писала одна слѣпая: голосъ передаетъ ея состояніе болѣе непосредственно, болѣе искренне, чѣмъ выраженіе ея лица. Люди, обреченные довольствоваться слухомъ, большею частью вырабатываютъ способность *наблюдать и изучать* самыя тонкія измѣненія голоса. Приходится обращать вниманіе не столько на звукъ голоса, сколько на его музыкальный тембръ: доброта или жестокость, благосклонность или озлобленіе, глупость, умъ, расположеніе къ неопредѣленности или мечтательности: все это передается ударами, вибраціями голоса, его уклонами и изгибами, его очертаніями и контурами". Еще опредѣленнѣе пишетъ Морисъ Де-ля-Сизеранъ: „Можно искусственно составить себѣ выраженіе лица, но невозможно сдѣлать это съ голосомъ, и вотъ преимущество въ пользу слѣпыхъ. Часто даютъ себѣ извѣстную фізіономію,

смотря по обстоятельствамъ, но всегда забываютъ приготовить тонъ голоса, и это даже почти невозможно. Трудно поддерживать споръ, даже простой разговоръ, не обнаруживая хоть сколько-нибудь чувства души: гнѣва, печали, довольства, пренебреженія. Фальшивая интонація тотчасъ же обнаружить принужденность, а легкое дрожаніе въ голосѣ, иронія въ его оттѣнкѣ, заставляютъ угадывать, подъ какими впечатлѣніями находится душа въ то время, когда за нею наблюдаютъ. Человѣкъ узнается по голосу, точно такъ же и по наружности, но голосъ менѣе способенъ измѣняться. Послѣ долгой разлуки можно вдругъ не узнать другъ друга, но довольно одной минуты, чтобы недоумѣніе разсѣялось. Есть особенность выговора, произнесенія словъ, особенности ударенія, которыя не забываются. Если же онѣ растрогали душу слѣплого въ одну изъ рѣшающихъ минутъ его жизни, то воспоминаніе объ этомъ жгучее или сладостное врѣзается въ сердцѣ того, кто не видѣлъ взгляда, но слышалъ и понялъ вздохъ; и вотъ, на краю свѣта, послѣ двадцатилѣтней разлуки, можетъ быть и равнодушной, это воспоминаніе заставитъ его назвать человѣка при первомъ его словѣ, при первомъ звукѣ его голоса. Такимъ образомъ, подводя итоги изложенному въ настоящей главѣ, мы можемъ сказать, что преобладаніе зрительныхъ образовъ въ душевной жизни человѣка придаетъ ей почти совершенно конкретный характеръ, преобладаніе же слуховыхъ почти совершенно отвлеченный: и глухонѣмые, и слѣпые представляютъ собою, такъ сказать, *половинныхъ людей*. Но чрезвычайная изощренность слуховыхъ представленій у слѣпыхъ передаетъ тѣ особенности душевного склада человѣка, которыя мы встрѣчаемъ донинѣ въ средѣ, обреченной ориентироваться по слуху въ сложныхъ условіяхъ существованія. Охотникъ, какъ и слѣпой, долженъ различать малѣйшіе оттѣнки въ звукахъ природы, чтобы уловить приближеніе добычи и опредѣлить ея качества. Съ другой же стороны, глухонѣмой представляетъ собою переживаніе того уровня духовнаго развитія человѣчества, когда мышленіе совершалось еще безъ словъ, въ видѣ смѣны образовъ. Образное мышленіе современнаго глухонѣмого и изощренная слуховая познавательная дѣятельность современнаго слѣпца и составляли въ своей совокупности душевныя способности того первобытнаго человѣка, который еще не создавалъ языка, но уже приближался къ его созданію. Обиліе и тонкость слуховыхъ образовъ, связанныхъ съ зрительными очень живыми воспріятіями тѣхъ же предметовъ, установили прочную ассоціацію между двумя рядами образовъ: на этой почвѣ возникло сознаніе того, что зрительному образу соответствуетъ звуковой. Когда такого звукового не было въ наличности, потому что предметъ не производилъ никакого звука, и когда, вслѣдствіе этого, въ одномъ изъ рядовъ не было соответствующаго члена, то, въ силу установившейся привычки имѣть его, онъ возстановлялся, и тогда названіе оказывалось уже чистымъ *символомъ* предмета. Разумѣется, такое по-

ниманіе существа *называнія предмета словомъ* не разрѣшаетъ многихъ вопросовъ, связанныхъ съ проблемой происхожденія языка, но психологія глухонѣмыхъ и слѣпыхъ, во всякомъ случаѣ, бросаетъ яркій свѣтъ на то, въ какихъ условіяхъ возникало называніе, и какъ слово превратилось въ символъ.

Какъ же складывается душевная жизнь въ тѣхъ случаяхъ, когда отсутствуютъ и слуховыя, и зрительныя воспріятія, когда къ глухонѣмотѣ присоединяется еще и слѣпота? Объектами особенно тщательнаго психологическаго изученія были двѣ представительницы этого типа, американки Лаура Бриджменъ и Елена Келлеръ, пріобрѣвшія большую извѣстность въ наукѣ. Носомнѣнно гораздо большую научную цѣнность имѣетъ изученіе душевной жизни Лауры Бриджменъ, тогда какъ рассказы о необыкновенно обширныхъ знаніяхъ, пріобрѣтенныхъ Еленой Келлеръ, представляютъ въ значительной степени легенду. Laura Bridgman родилась 21 декабря 1829 г., а въ 1837 г. поступила въ институтъ для глухонѣмыхъ, основанный и руководимый знаменитымъ американскимъ врачомъ и филантропомъ Самуиломъ Хоуе (Samuel Howe). Здѣсь она провела много лѣтъ, пользуясь самымъ внимательнымъ уходомъ и обученіемъ. Самъ Хоуе и Мэри Свифтъ-Лямсонъ, обучавшая Лауру съ 1841 по 1845 годъ, оставили нѣсколько тщательныхъ описаній ея воспитанія и успѣховъ. Тому же вопросу были посвящены работы Стэнли Голла, Санфорда и другихъ американскихъ психологовъ, и наконецъ, на основаніи всѣхъ этихъ матеріаловъ, нѣмецкій ученый Іерузалемъ составилъ свою монографію, которой я буду пользоваться въ дальнѣйшемъ изложеніи ¹⁾. Лаура Бриджменъ скончалась въ преклонномъ возрастѣ, въ 1889 г., такъ что она могла представить полную картину развитія умственныхъ способностей у слѣпого глухонѣмого.

Лаура происходила изъ семьи зажиточныхъ фермеровъ и до двухъ лѣтъ развивалась вполнѣ нормально. Она уже лепетала нѣсколько словъ и знала нѣсколько буквъ азбуки. Но въ это время семью постигло несчастье: scarлатина унесла двухъ старшихъ сестеръ Лауры, а ее изувѣчила, лишивъ дѣвочку зрѣнія и слуха. Послѣдній былъ пораженъ совершенно, и если впослѣдствіи Лаура воспринимала какіе-нибудь звуки, то лишь съ помощью чрезвычайно развитого у нея осязанія, до котораго достигали и воздушныя волны, созданныя особенно сильными звуками. Что же касается зрѣнія, то оно утрачивалось болѣе постепенно: въ 1839 году Лаура не различала уже никакихъ свѣтовыхъ впечатлѣній, но еще въ 1837 г. она отличала свѣтъ отъ темноты, могла указать, въ какомъ направленіи расположены окна, и что-нибудь бѣлое, поставленное передъ ея правымъ глазомъ, привлекало ея вниманіе. Во всякомъ случаѣ, и тогда

¹⁾ Laura Bridgman. Erziehung einer Taubstumm-Blinden. Eine psychologische Studie von Prof. Dr. Wilhelm Jerusalem. 2-er Abdruck. Wien. 1891.

зрительныя воспріятія были такъ слабы, что не имѣли почти никакого познавательнаго значенія. Чувства вкуса и обонянія были также поражены, но не окончательно. Тѣмъ не менѣе, для познанія внѣшняго міра у Лауры оставалось въ распоряженіи лишь одно чувство осязанія, которое и развивалось въ необыкновенной степени. Еще до начала обученія Лаура накопила весьма значительное число такихъ впечатлѣній, и съ помощью ихъ она оріентировалась въ окружающей обстановкѣ. Она увѣренно двигалась по дому, различала комнаты, знала о коврахъ, покрывающихъ полъ, слѣдовала за матерью и распознавала, чѣмъ занята мать; она знала даже, что въ одной стѣнѣ есть щель, черезъ которую пролѣзаетъ кошка, ей доставляло удовольствіе качать на колѣняхъ, какъ куклу, сапогъ или вертѣть въ водѣ точильный камень. Съ матерью Лаура сообщалась съ помощью нѣсколькихъ жестовъ. „Когда она хотѣла ѣсть, она протягивала руку; если ей хотѣлось хлѣба съ масломъ, она дѣлала такой жестъ, точно намазывала. Ударъ по спинѣ означалъ, что ею довольны, тогда какъ прикосновеніе къ головѣ показывало довольство. Но, разумѣется, эти знаки оказывались недостаточными, и поэтому у Лауры часто происходили припадки бѣшенства, которые ее отецъ могъ усмирять только съ помощью крутыхъ мѣръ“. Мать научила Лауру вязать, плести и немного шить, и этимъ ограничивались познанія дѣвочки. Во всякомъ случаѣ, нельзя не согласиться съ Іерусалемомъ, что то количество знаній, которое бѣдная глухонѣмая и слѣпая дѣвочка приобрѣла съ помощью осязанія, было весьма значительно. „Оно приводитъ въ изумленіе и показываетъ, какъ сильно у человѣка стремленіе использовать свои психическія силы“. Въ такомъ состояніи находилась Лаура, когда началось ее обученіе. Д-ръ Хоуе рѣшилъ обучить ее не языку жестовъ, но словесной рѣчи, съ помощью которой она могла бы объяснять свои желанія всему міру, а не немногимъ, изучившимъ ее языкъ жестовъ. Для этого у нея надо было создать „внутреннюю рѣчь“, которая могла бы пойти по единственно открытому для ее познанія пути, т. е. по пути осязательныхъ представленій. Это была бы внутренняя моторная рѣчь, лишенная, однако, контроля со стороны слуховыхъ воспріятій и предоставленная въ своемъ образованіи и совершенствованіи только весьма развитымъ мускульнымъ и осязательнымъ ощущеніямъ глухонѣмой. Обученіе совершилось слѣдующимъ образомъ. Когда Лаура привыкла къ обстановкѣ заведенія для глухонѣмыхъ, д-ръ Хоуе пришелъ къ ней съ нѣсколькими полосками бумаги, на которыхъ были напечатаны выпуклыми буквами названія наиболѣе обычныхъ предметовъ, ножа, вилки, ложки, стула и т. п. Каждая полоска имѣлась въ двухъ экземплярахъ, изъ которыхъ одинъ былъ прикрѣпленъ къ предмету, другой оставался свободенъ. Лаурѣ давали его ощупывать вмѣстѣ съ предметомъ, имя котораго было напечатано на полоскѣ, а потомъ подавали ей свободную полоску. Когда она ощупывала и ту, и дру-

гую, указательные пальцы ея рукъ складывали, что должно было означать тожество двухъ пластинокъ. „Повидимому, Лаура легко поняла, что знаки на обѣихъ полоскахъ одинаковы. Но дальше этого она еще не шла“. Такъ продолжалось два дня; только на третій Лаура поняла, что эти тожественные знаки на предметѣ и на бумажкѣ и сами по себѣ означаютъ именно самый предметъ; мы сказали бы, служить его символомъ. „Это обнаружилось въ томъ, что полоску со словомъ *chair* (стулъ) она положила сначала на одинъ стулъ, потомъ на другой, причемъ разумная улыбка освѣтила ея до того времени надутое лицо“. Дальнѣйшій процессъ обученія Хоуе излагается въ слѣдующихъ словахъ: „Въ то время, какъ на первыхъ урокахъ, она, подобно ученой собакѣ, терпѣливо подражала тому, что дѣлалъ учитель, теперь началъ дѣйствовать ея разумъ. Она оказалась въ состояніи понять, что здѣсь было найдено средство выразить все то, что происходило въ ея душѣ, и сообщить объ этомъ другой душѣ, и ея лицо сразу приняло по истинѣ человѣческое выраженіе. Теперь это была уже не собака и не попугай; это былъ безсмертный духъ, который жадно хватался за связь, соединяющую его съ другими духами“.

Несомнѣнно, та легкость, съ которой совершилась эта великая перемѣна въ сознаніи Лауры, была подготовлена врожденнымъ человѣку стремленіемъ высказываться. Лишенная этой возможности, Лаура волновалась и неистовствовала. Конечно, первобытный человѣкъ не такъ легко продѣлалъ путь, пройденный ею, но и у него установившаяся ассоціація между „названіемъ“ (въ той или другой формѣ) и предметомъ сдѣлалась сначала его собственнымъ достояніемъ, потомъ средствомъ общенія съ себѣ подобными. Какъ мы видимъ изъ приведеннаго примѣра, этотъ переходъ отъ слова, какъ символа, къ слову, какъ орудію обмѣна, произошелъ мгновенно, не потребовавъ никакой промежуточной инстанціи. Но это стало возможно лишь вслѣдствіе того, что среда понимала знаки Лауры. Такимъ образомъ, вторая часть проблемы происхожденія языка не освѣщается даннымъ случаемъ; вѣдь нужно не только, чтобы человѣкъ говорилъ, но и чтобы его понимали. А какъ создается такое пониманіе? Несомнѣнно, путемъ подражанія одной особи другой, особи, менѣе значительной по своему положенію, особи авторитетной. Иначе разовьется всеобщее болтаніе, вѣчно смѣняющееся, безтолковое, ни для кого непонятное. У Лауры вслѣдъ за пониманіемъ словъ легко уже было воспитать пониманіе буквъ и умѣніе складывать слова изъ нихъ; такимъ же путемъ усвоенія осязательныхъ ощущеній ей удалось внушить пониманіе пальцевой азбуки, хотя здѣсь она была представлена исключительно моторнымъ представленіямъ движенія пальцевъ. Преподавательница ея описываетъ слѣдующимъ образомъ методъ обученія: „Я давала ей сначала опупать предметъ, названію котораго я хотѣла научить ее; затѣмъ я приводила ей названіе его, складывая его

съ помощью пальцевъ. Она клала свою правую руку на мою и такъ могла чувствовать каждое мое движеніе и всякую переѣну положенія“. Этотъ языкъ движеній Лаура Бриджменъ усвоила себѣ въ совершенствѣ, и онъ сдѣлался для нея главнымъ средствомъ сообщенія съ міромъ. Она достигла въ немъ такого искусства, что можно было читать ей „вслухъ“ по пальцамъ (т. е. на ея рукѣ продѣлывать движенія пальцевой азбуки, въ соотвѣтствіи съ текстомъ), и она свободно понимала читаемое. Такимъ образомъ, у нея возникла настоящая внутренняя рѣчь моторными представленіями пальцевой азбуки, и она разговаривала пальцами сама съ собой, оставаясь наединѣ, и даже во снѣ говорила пальцами такъ быстро, что ее нельзя было понять. Разумѣется, все это относится къ гораздо болѣе поздней эпохѣ ея развитія; сначала же Лаура узнала названія только предметовъ, которые она могла ощупать. Это были имена предметовъ, тогда какъ слѣдовало научить Лауру понимать такіе слова, которыя означаютъ качества, чувства и т. п. Такъ было въ 1837 году, черезъ четыре мѣсяца послѣ начала обученія, а въ слѣдующемъ году Лаура уже умѣла складывать короткія предложенія: *shut door* (закрой двери) и *give book* (дай книгу) или *Smit-head sick—Laura sorry* (у Смитъ-учительницы болитъ голова, Лаура печальна).

Въ этомъ усвоеніи Лаурой языка обнаруживается, дѣйствительно, та сложность психическаго процесса, приводящаго къ пониманію словъ, которая внушила психіатрамъ, на основаніи изученія афазіи, убѣжденіе, что „пониманіе словъ представляетъ процессъ, совершающійся въ послѣдовательномъ порядкѣ, по стадіямъ, и постепенно усложняющійся“¹⁾. Лаура, научившись употреблять слова для означенія качествъ, приобрѣла способность къ отвлеченному мышленію, которая выразилась въ сужденіи: „Лаура печальна“. Черезъ два года она могла уже свободно разговаривать съ людьми, которые понимаютъ пальцевый языкъ глухонѣмыхъ, и такимъ образомъ развила достаточно сложную внутреннюю моторную рѣчь. Десятилѣтняя дѣвочка писала письма, мало отличающіяся по складу своему отъ писемъ нормальныхъ дѣтей того же возраста: „*Laura will write letter to mother* (Лаура хочетъ, написать письмо матери). *Laura will ride with father* (Лаура хочетъ ѣхать, или поѣдетъ съ отцомъ). *Laura will make purse for mother* (Лаура хочетъ сдѣлать щетку матери). *Laura will sleep with mother and father* (Лаура хочетъ спать съ матерью и отцомъ). *Mother will love and kiss Laura* (мать будетъ любить и цѣловать Лауру). *Now Laura will carry letter for mother* (теперь Лаура понесетъ письмо матери). *Laura will go see Wales* (Лаура хочетъ пойти къ Уэльсамъ), *Laura will go home* (Лаура хочетъ пойти домой)“. Какъ ни просто содержаніе этого письма, ко-

¹⁾ „Das Wortverständnis darstellt einen stadienweise sich vollziehenden, zunehmend sich komplizierenden Prozess“ A. Pick. Ueber das Sprachverständnis. 1909.

торое выражает только желанія Лаура и лишено всякаго отвлеченнаго характера, оно состоитъ изъ ряда сужденій, которыя могутъ быть переданы только съ помощью языка. Такой уровень развитія позволялъ приступить къ дальнѣйшему обученію глухонѣмой. Первые дѣйствія ариметики съ простѣйшими числами дались ей легко. Такъ же успѣшно плло преподаваніе географіи, естественной исторіи и исторіи человѣчества, разумѣется, все это въ весьма ограниченныхъ размѣрахъ. Къ сожалѣнію, насъ завело бы слишкомъ далеко за рамки настоящаго изслѣдованія подробное описаніе рѣчи и письма Лауры Бриджменъ. Поэтому, я ограничусь здѣсь заключеніемъ Іерусалема, что глухонѣмая „хорошо овладѣла языкомъ, но не обнаруживала совершенно никакой фантазіи“. Однако, тотъ фактъ, что она видѣла сны въ формѣ какихъ-то моторныхъ образовъ, обнаруживаетъ и въ данномъ случаѣ наличность воображенія, конечно, весьма скуднаго и ограниченного творчествомъ представленій движенія и пальцевой азбуки. Сама Лаура замѣчала по этому поводу: „я не вижу во снѣ, что я говорю ртомъ, я грежу, что я говорю пальцами“. Однако, какъ-то въ болѣе позднемъ возрастѣ она заявила, что грезилa во снѣ, будто говорить ртомъ, но, по всей вѣроятности, этотъ сонъ былъ лишь результатомъ дневного чтенія. Вѣдь и въ тѣхъ стихотвореніяхъ, которыя она писала въ эту пору, говорится о вещахъ, совершенно непостижимыхъ для чувствъ Лауры, бѣломъ и черномъ, свѣтѣ и тмѣ, о томъ, что въ загробной жизни разрѣшатся узы ея языка, откроются Божьими перстами ея очи и уши, и она будетъ слышать, говорить и видѣть. Конечно, представить себѣ хотя бы одно изъ этихъ чувствъ Лаура не могла, но она знала, что говорятъ ртомъ, и „видѣла“ объ этомъ сонъ.

Большой интересъ по вопросу о прирожденномъ современному человѣку стремленіи говорить, представляютъ тѣ звуки (*noises*, скорѣе *шумы*), которые производила Лаура, какъ выражая свои чувства (*emotional*), такъ и называя ими извѣстныхъ людей. Еще до поступленія въ заведеніе д-ра Хоуе она, по собственнымъ воспоминаніямъ, „печально бормотала“ (*murmured*), когда ее покидала мать.

Первая воспитательница Лауры отмѣтила, что эта послѣдняя издавала сначала слабые и пріятные для слуха звуки, которые потомъ, когда она больше освоилась съ новыми людьми, стали громче и непріятны. Лаура издавала ихъ безсознательно, и, когда воспитательница, желавшая отучить ее отъ такой „плохой манеры“, клала ей руку на ротъ, она замолкала. Весьма важно, однако, что Лаура испытывала потребность излить душу въ такихъ крикахъ; на просьбы врача подавить ихъ, она отвѣчала иногда отказомъ („I have so much voice“ или „God gave me much voice“), а, оставшись одна, отводила душу въ этихъ „шумахъ“ (*she indulged herself in a surfeit of sounds*). При этомъ эмоціямъ соотвѣтствовали *опредѣленные звуки*: такъ изумленіе передавалось чѣмъ то

въ родѣ слога *Ho-o-ph-ph*. Мы стоимъ, такимъ образомъ, у самого первоисточника человѣческой рѣчи: возбужденіе передается въ видѣ звука, сходныя возбужденія разряжаются въ видѣ сходныхъ звуковъ. Лаура Бриджменъ показала намъ и вторую ступень въ процессѣ возникновенія языка: она *поняла*, что ея звуки привлекаютъ вниманіе другихъ, и стала употреблять ихъ цѣлесообразно. 29 іюня 1841 г., когда Лаурѣ было уже около 12 лѣтъ, и когда она уже хорошо знала пальцевой языкъ, она заявила своей воспитательницѣ: „я хотѣла, чтобы вы пришли, и я *звала* васъ“. Этимъ зовомъ былъ особенный звукъ. Надо, однако, оговориться, что такое пониманіе *цѣлесообразности* звуковъ было подготовлено у Лауры привычкой сообщаться съ людьми съ помощью другихъ знаковъ, а, можетъ быть, и чтеніемъ о говорящихъ людяхъ. Во всякомъ случаѣ, она быстро ассоціировала два факта: свой звукъ и возбужденіе имъ чужого вниманія. Звуки, которые производила глухонѣмая, не воспринимались ею съ помощью слуха, но вызывали извѣстныя моторныя представленія, а такъ какъ Лаура думала съ помощью именно моторныхъ образовъ словъ (выраженныхъ пальцевой азбукой), то неудивительно, что она стала думать и нѣкоторыми изъ своихъ звуковъ, которые связались у нея съ опредѣленными чувствами. Это было уже настоящее творчество человѣческой рѣчи, какое создало и, вообще, человѣческій языкъ и создаетъ у каждаго начинающаго говорить человѣка (младенца) *свой* словарь звуковъ для выраженія *своихъ чувствъ*. Примѣръ Лауры Бриджменъ позволяетъ намъ идти еще дальше: звуки ея имѣли въ извѣстной мѣрѣ инстинктивный характеръ и, какъ таковыя, инстинктивно же понимались другими людьми. „Среди этихъ трехъ звуковъ имѣлся одинъ очень сильный, похожій на вой, звукъ гнѣва (*angry noise*), который удавалось услышать отъ нея лишь очень рѣдко. По просьбѣ Стэнли Голля, она попыталась произвести его, но *ей это не удалось*“ (*Jerusalem*. 43). Вѣроятно, потому что не было соответствующаго возбужденія. Установивъ ассоціацію между эмоціональными звуками и представленіями о внѣшнемъ мірѣ, Лаура Бриджменъ, говоря принципиально, создала свой языкъ, и теперь психологически ей уже не было трудно пополнять свой словарь. Пальцевая рѣчь и здѣсь подсказала ей, что словами означаются не только чувства (какъ могъ бы сказать ей ея „эмоціональный“ языкъ), но прежде всего вещи, и вотъ она *придумала* до 60 звуковъ, которыми *называла* различныхъ людей. На вопросъ ея воспитательницы, сколько такихъ звуковъ она удерживаетъ въ своей памяти, она сейчасъ же произвела ихъ.

Очень интересны относящіеся сюда показанія д-ра Хоуе (1841): „Стремленіе производить звуки оказывается настолько сильнымъ, что Лаура употребляетъ ихъ для нѣкоторыхъ изъ своихъ знакомыхъ, и притомъ для каждаго человѣка разный. Если она входитъ послѣ недолгой разлуки въ комнату, гдѣ находится 12 слѣпыхъ дѣвочекъ, она обнимаетъ ихъ одну

за другой, и при этомъ быстро и въ высококомъ тонѣ издаетъ особенный звукъ, который означаетъ каждую изъ дѣвочекъ, и эти звуки настолько отличаются одинъ отъ другого, что каждая изъ дѣвочекъ, услышавъ звукъ, можетъ сказать, за кого ее принимаетъ Лаура. Если же она будетъ говорить объ этой самой дѣвочкѣ съ кѣмъ-нибудь третьимъ, то она на пальцахъ сложить знакъ, означающій имя дѣвочки; тѣмъ не менѣе я склоненъ думать, что *мысль связывается сначала со звукомъ, а потомъ уже переводится на языкъ пальцевъ*, ибо, когда она остается одна, она издаетъ иногда эти звуки, или названія лицъ. На мой вопросъ, почему она издаетъ извѣстный звукъ вмѣсто того, чтобы сложить на пальцахъ имя извѣстнаго лица, она сказала мнѣ: я думаю о звукахъ для Жанетты часто, когда я думаю, какія хорошія вещи она мнѣ даетъ; тогда я не думаю о томъ, чтобы сложить ея имя“. Другими словами, осязательный образъ вещей, пріятныхъ для Лауры, вызываетъ въ памяти ея имя въ видѣ звука, произносимаго при этомъ Лаурой. Одно изъ лицъ, наблюдавшихъ эту послѣднюю, составило списокъ такихъ словъ, и здѣсь передъ нами опять поразительный фактъ: слова Лауры сложены по законамъ, которые управляютъ рѣчью дѣтей и обнаруживаются въ языкахъ такъ называемыхъ дикарей. Это и повторенные слоги (foo-foo-foo или too-too-too, но *никогда* too-too, или ра-ра-ра, pig-pig-pig, или ts-ts). Повтореніе здѣсь, какъ и при вербигераціи, какъ и у дѣтей и т. п., основано, конечно, на томъ, что стремленіе говорить направляется по линіи наименьшаго сопротивленія, т. е. по уже протореннымъ путямъ. Однако, въ словахъ Лауры нѣтъ ничего похожего на *ономатопэтическое* созданіе языка: pig-pig-pig, означавшее учительницу, или ра-ра-ра, названіе подруги, не представляли собою воспроизведенія какихъ-либо звуковъ, такъ какъ Лаура ихъ и не слышала. *Какимъ-то образомъ*, который для наблюдателя остался тайной, извѣстныя представленія связались съ совершенно непохожими на нихъ звуками, какъ и въ индо-европейскихъ языкахъ слова являются въ громадномъ своемъ большинствѣ условными символами. Значить—ограничимся пока такимъ выводомъ—примѣръ Лауры Бриджменъ показываетъ, что для созданія словаря можно и не прибѣгать къ звукоподражанію.

По мнѣнію Іерусалема, эти слова Лауры были звуками, которые были выраженіями различныхъ степеней и формъ чувства. Такъ, имя сестры д-ра Хоуе, Жаннетты, Лаура *произносила* лишь потому, что любила ее, тогда какъ имена людей, къ которымъ она относилась равнодушно, она складывала на пальцахъ. Лишь *аффектъ* вызывалъ на уста Лауры опредѣленный звукъ. „Позже, когда эти звуки вслѣдствіе частаго употребленія ассоціировались все тѣснѣе съ представленіемъ объ извѣстномъ лицѣ, постепенно утратилась ихъ эмоціональная окраска, и они сдѣлались настоящими именами“. Замѣчаніе, представляющее непосредственный интересъ для вопроса о происхожденіи языка (Jerusalem. 48). Звуки Лауры Брид-

жмень не были простыми рефлексами, но выраженіями все болѣе тонко дифференцірующагося чувства, при чемъ выраженіе ассоціровалось съ возбудителемъ чувства: такъ опредѣляетъ ихъ Іерусалемъ, который справедливо отмѣчаетъ необходимость также социальнаго элемента для развитія языка Лауры. Другія глухонѣмья, которыя находились въ томъ же самомъ заведеніи, не достигли такого высокаго уровня умственнаго развитія, какой приобрѣла Лаура.

Онѣ также издавали извѣстные эмоціональные звуки, которыми привлекали къ себѣ вниманіе окружающей ихъ среды, но эти звуки не превратились въ слова. На преобразование интеллектуальной жизни Лауры усвоеніе ею языка имѣло чрезвычайно значительное вліяніе: тѣ неясныя общія представленія, которыя предшествовали въ ея сознаніи этому обогащенію его словами, смѣнились *понятіями*. При этомъ способность къ отвлеченному мышленію складывалась у нея лишь постепенно. Имена прилагательныя казались ей первоначально лишь другимъ именемъ предмета: „большая книга“ представляла собою какъ бы два имени одного и того же предмета, и Лаура спрашивала, какое еще другое имя есть у стула, стола и т. д. Тагформа моторнаго мышленія, которую выработала у себя глухонѣмая, представлялась весьма утомительной, и она постоянно жаловалась, что „думать тяжело“. Когда же она узнала, что у нормальныхъ людей пять чувствъ, а у нея всего три, она возразила: „Нѣтъ, у меня четыре чувства: думанье, носъ, ротъ и пальцы“. Лаура Бриджмень, исторія которой была изучена столькими выдающимися психологами, даетъ картину весьма рѣдкаго развитія глухонѣмыхъ-слѣпыхъ. Нѣсколько подобныхъ больныхъ, попавшихъ въ благоприятныя условія обученія, также научились складывать слова на пальцевой азбукѣ. Но всѣ они далеко отстали отъ Лауры и еще дальше отъ нашей современницы, американки Елены Келеръ, если только вѣрить тому, что она изложила будто бы сама въ „Исторіи своей жизни“. Какъ уже было указано выше, рассказы о необыкновенномъ образованіи Елены Келеръ возбудили большія сомнѣнія среди спеціалистовъ. Преподаватель въ заведеніи для глухонѣмыхъ Руд. Броммеръ, посвятилъ цѣлую книжку доказательству того, что „Исторія моей жизни“, наполненная противорѣчіями и написанная напыщеннымъ языкомъ, не можетъ принадлежать Еленѣ Келеръ. Русскій читатель легко можетъ ознакомиться съ удивительными познаніями Елены Келеръ по записямъ ея воспитательницы, миссъ Сюлливанъ, которыя иногда производятъ впечатлѣніе рассказовъ извѣстнаго барона Мюнхгаузена. Онѣ собраны въ написанной горячо, но безъ необходимой критики книгѣ г-жи Рагозиной: „Исторія души“.

Обученіе Елены Келеръ началось съ выпуклой азбуки. Слова, сложенные изъ такихъ буквъ, ей клали на руку и при помощи осязанія (сначала приходилось класть на ладонь выпуклыя буквы, потомъ ограничивались тѣмъ, что писали ей слова пальцемъ на ладони) у Елены Келеръ возникла моторная форма внутренней рѣчи, которая

была достаточна для простѣйшаго познанія предметовъ. Но стоитъ прочесть поэмы и воспоминанія Елены, чтобы замѣтить, что или она повторяетъ чужія слова, лишенная для нея всякаго зрительнаго или другого образнаго содержанія, или что просто ей приписывали чужія сочиненія, совершая такимъ образомъ мистификацію. Когда она говорила о звукахъ и цвѣтахъ, о природѣ Бразильскихъ лѣсовъ и т. п., то что своего она могла сообщить о нихъ? Но Елена Келеръ обладаетъ, какъ утверждаютъ, такой массой всевозможныхъ знаній, которыя превышаютъ даже средній уровень образованія у нормальныхъ дѣтей ея возраста. Она объясняется не знаками, но словами, и притомъ, будто бы, говорить на нѣсколькихъ языкахъ. Въ университетѣ эта слѣпоглухонѣмая держала экзаменъ по математикѣ, т. е., проще говоря, по ариметикѣ, и изъ анализа ея сбивчивыхъ и высокопарныхъ показаній о трудности заданныхъ ей работъ можно извлечь лишь тотъ выводъ, который сдѣлалъ Бромеръ: „всѣ ея знанія по ариметикѣ были довольно жалки“. Что касается ея чтенія, то достаточно привести слѣдующее признаніе Елены Келеръ: „Только во время моего перваго пребыванія въ Бостонѣ, я начала систематически и усердно *читать*. Мнѣ разрѣшалось проводить каждый день извѣстное время въ библіотекѣ, переходить отъ одной книжной полки къ другой и вытаскивать всякую книгу, на которую наталкивались мои пальцы. И я читала и читала, хотя понимала всего одно слово изъ десяти или два слова на страницѣ. Слова сами по себѣ производили на меня чарующее впечатлѣніе; но у меня не было сознательнаго пониманія того, что я читала“. Можно-ли называть такое случайное нахожденіе знакомыхъ словъ чтеніемъ? И еще много лѣтъ спустя, Елена Келеръ должна была сознаться: „Я знаю, что есть много такихъ вещей въ Шекспирѣ и въ мірѣ, которыхъ я не понимаю“. Оставляя въ сторонѣ дальнѣйшія подробности изъ чудесной жизни этой глухонѣмой, я ограничусь замѣчаніемъ, что у нея, несомнѣнно, развилась богатая внутренняя жизнь съ помощью моторныхъ представленій произносимыхъ словъ и осязательныхъ образовъ буквъ и словъ, напечатанныхъ выпуклыми буквами, а также написанныхъ на ея ладони. Но въ области высшаго познанія Елена Келеръ, при неспособности самоконтролировать правильность своего произношенія и пониманія, оказалась бы совершенно безпомощной безъ постоянной опеки.

ГЛАВА VII.

Мимика и жестъ.

Къ числу средствъ сообщенія внѣшнимъ наблюдателямъ содержанія своего интеллекта относятся выраженіе лица, поза, жестикуляція. Съ помощью искусственныхъ жестовъ объясняются другъ съ другомъ глухонѣмые, богатая жестикуляція и мимика увеличиваютъ впечатлѣніе, произ-